

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ФОН-ВИЗИН

Петр Вяземский
Фон-Визин

«Public Domain»

1848

Вяземский П. А.

Фон-Визин / П. А. Вяземский — «Public Domain», 1848

«Представляемая мною в 1848 г., на суд читателей, книга начата лет за двадцать пред сим и окончена в 1830 году. В 1835 году, была она процензирована и готовилась к печати, В продолжение столь долгого времени, многие из глав ее напечатаны были в разных журналах и альманахах: в «Литературной Газете» Барона Дельвига, в «Современнике», в «Утренней Заре», и в других литературных сборниках. Самая рукопись читана была многими литераторами. В разных журналах и книгах встречались о ней отзывы частью благосклонные, частью нет...»

© Вяземский П. А., 1848

© Public Domain, 1848

Содержание

Глава I	7
Глава II	14
Глава III	20
Глава IV	25
Глава V	28
Глава VI	47
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Петр Вяземский Фон-Визин

Представляемая мною в 1848 г., на суд читателей, книга начата лет за двадцать пред сим и окончена в 1830 году. В 1835 году, была она цензурирована и готовилась к печати, В продолжение столь долгого времени, многие из глав ее напечатаны были в разных журналах и альманахах: в «Литературной Газете» Барона Дельвига, в «Современнике», в «Утренней Заре», и в других литературных сборниках. Самая рукопись читана была многими литераторами. В разных журналах и книгах встречались о ней отзывы частью благосклонные, частью нет. Эта метрическая справка, о летах являющегося ныне в свет сочинения, показала мне неизлишнюю, для предупреждения недоразумений, и для правильного заключения об относительном достоинстве и об относительных недостатках предлагаемой книги. Такие метрические и, так сказать, личные указания, равно нужны как в оценке книги, так и в оценке людей. В суждении о тех и других, не должно никогда терять из вида, в какое время книга была написана или человек действовал. Может быть, спросят: почему же книга, имеющая уже столько лет от роду, так поздно является в свет? Объяснение этого вопроса не доставит никаких сведений, которые могли бы иметь какую-нибудь занимательность для читателей. Впрочем, любопытнейших из них отсылаю к статье, напечатанной мною в 3-й книжке «Современника», на 1837 год (стр. 373). Знаю, что объявляя о возрасте книги моей, подвергаю ее предварительному подозрению и осуждению некоторых критиков. Они решили, что книги старого поколения никуда не годятся, и что, в последнее пятнадцатилетие, литература наша так далеко ушла, что все прежнее должно быть предано забвению или равнодушно принято к сведению. Но опасение с этой стороны на меня нисколько не действует. Мне никак не верится, что последний период литературной деятельности Карамзина и Пушкина должен быть признан за младенчество, а нынешний период за период возмужалости и совершеннолетия литературы нашей. Каюсь в неверии своем, и откровенно и смело выставляю год рождения книги моей.

Позволю себе еще несколько дополнить эти сведения биографическими подробностями о самой книге. По первоначальной смете, сочинение мое о Фон-Визине должно было ограничиться пределами статьи, то есть, краткого введения к творениям его. От обстоятельств, статья разрослась в книгу. Холера, свирепствовавшая в 1830 году, застигла и заперла меня с семейством в подмосковной моей, После первых опасений и беспокойств в виду роковой посетительницы, для развлечения и успокоения своего, я почувствовал потребность в постоянном занятии. Фон-Визин явился мне тогда на помощь и в отраду, Под руками моими была обширная библиотека, много рукописей, записок и писем, относящихся до царствования и эпохи Екатерины Великой; к тому же было много времени и досуга. Открытие каждого нового сведения влекло меня к новым разысканиям. Круг действия моего беспрестанно расширялся под изыскательным пером. Так, например, письма Бибикова и Сальдерна заставили меня перечитать записки Фридриха Великого, и т. д. Старые русские книги и старые русские журналы прочитаны мною были с любопытством и добросовестностию. Все эти запасы отозвались в труде моем, с большею или меньшею пользою, с большим или меньшим успехом, Таким образом, одинокое лицо писателя Фон-Визина вошло в общественную жизнь эпохи, и современная ему эпоха обставила живую рамою написанное мною его изображение. Умел ли я с удовлетворительным искусством и знанием дела исполнить задачу, которую себе выбрал? этот вопрос подлежит разрешению не моему, а моих читателей. Но мне кажется, что, без неприличного самохвальства, мог я себе позволить определить, в вышеписанных строках, точку зрения, с которой, во след некоторым благосклонным ко мне судиям, должно оценить книгу, едва ли не первую у нас попытку, в роде биографической литературы.

Особенно обращаю внимание читателей на приложения. В них моего ничего нет. Следовательно, тем свободнее можно мне указать на занимательность и важность некоторых материалов, в них заключающихся.

*Кн. П. Вяземский.
С.-Петербург,
2-го Февраля 1848 года.*

Глава I

Значение истории литературы вообще. – Двойственный ее характер. – Русская литература: Ломоносов, Державин, Богданович, Карамзин, Дмитриев, Озеров, Крылов, Жуковский, Пушкин. – Имеет ли Русская литература свою оригинальность? Литература наша выражает ли вполне наше общество, его нравственную самобытность. – Под какими условиями литература может иметь влияние на народ. – Одностороннее направление русской литературы, выразившееся в лирической поэзии. – Оригинальное образование нашего общества (победами). – Явление Ломоносова, Петрова, Державина и других, как поэтов народа-победителя. Век Екатерины Великой. – Новое побуждение к продолжению лирического направления нашей поэзии. – Любовь Императрицы к французской литературе. – Влияние французской литературы на русскую. – Посредничество в этом Ив. Ив. Шувалова. – Борис Михайлович Салтыков. – Его литературный агент в Женеве. – Сношение Сумарокова с Вольтером. – Дидерот, Альфиери, Бернарден де-Сен-Пьер и другие литераторы в С.-Петербурге. – Влияние образованности Двора на наше общество. – Общие замечания о Фон-Визине. – Оригинальность его. – Эпоха покровительства талантов Двором и вельможами. – Фон-Визин, действующее лицо на сцене Петербургской, и как писатель драматический и сатирический. – Круг наблюдений Фон-Визина, ограничивающийся единственно обществом провинциальным. – Различие между Фон-Визиным и Молиером. – О жизни и литературных трудах Фон-Визина вообще. – Скудость материалов для его биографии. – Бумаги оставшиеся после него. – Исповедь. – Письма к родственникам и приятелям. – Письма к нему от некоторых замечательных лиц. – Разные бумаги: деловые, политические и семейные

История литературы народа должна быть вместе историею и его общежития. Только в соединении с нею может она иметь для нас нравственное достоинство и поучительную занимательность. Если на литературе, рассматриваемой вами, не отражаются мнения, страсти, оттенки, самые предрассудки современного обществу; если общество, предстоящее наблюдению вашему, чуждо господству и влиянию современной литературы, то можете заключить безошибочно, что в эпохе, изучаемой вами, нет литературы истинной, живой, которая не без причины названа выражением общества. Можно еще допустить, что в некотором отношении литература бывает двоякая: одна для народа то, что дар слова для человека: то, чем передает он себя ближним и потомству; то, чем он человек, то есть существо мыслящее и чувствующее. Человек без сего способа выражать себя и народ, не имеющий сей литературы, существа неполные, не достигающие цели бытия своего. Другую литературу можно причислить к искусствам изящным; к ваянию, к живописи, к музыке. Она – в разряде вспомогательных, уже благоприобретенных способностей, коими ум человеческий прихотливо выражает мысль свою, коими народ образующийся честолюбиво знаменует успехи свои на поприще гражданственности и умственного усовершенствования. Посреди безмолвия, оцепенения, царствующего при отсутствии первой из сих литератур, может возвыситься иногда голос автора, который сильно подействует на внимание общества, его окружающего; общество отвечает ему с силою и быстротою потрясенного сочувствия; но сие действие случайно, скоропостижно и недолговременно: не имев предыдущего, оно едва объемлет стесненные пределы настоящего и теряется вместе с минутным впечатлением. Так сладкозвучный Ромберг или молниеносный смычок Паганини зажигают восторг и оковывают внимание слушателей. В раздражении сокровеннейших нервов своих, они сочувствуют, соответствуют гармоническим изливаниям повелительного чародея; но сие сочувствие, сия взаимность в ощущениях, в сотрясениях сокровенных были только насильственные или по крайней мере не естественные, а искусственные. Пора баснословных чудес Орфея миновалась: ни горы не тронутся с места, ни львы, ни люди не преобразуются. Звуки замолкли, раздраженные нервы

утихли, и между виртуозом и слушателями его уже нет никакого нравственного соответствия. Литература также имеет своих виртуозов. Равно и между творением отличным и народом, коего общество еще не готово для литературы или литература еще не созрела для общества, нет также обоюдности глубокой и постоянной. Концерт отслушан, книга прочтена, и тот и другая возбудили несколько изящных ощущений, может быть, несколько благородных соревнований, но тем все и кончилось. Обратимся теперь к нам: поверим наше предположение добросовестно и внимательно и выведем заключение. Некоторые наши явления литературные: великолепные оды Ломоносова; воспламененные философические и сатирические гимны Державина; грациозные шутки Богдановича; утонченности взыскательного общежития, европеизмы, введенные в прозу и стихи наши Карамзиным и Дмитриевым; опыты Озерова, который умел иногда сочетать блеск трагических форм Вольтера с благозвучием поэзии Расина; лукавое простосердечие и черты русской насмешливости и замысловатости, ярко оттенившие произведения Крылова; оригинальность заимствований или завоеваний Жуковского, положившего свою печать на подражания, которые в свое время были смелыми новизнами; в Пушкине тот же дух, те же приемы поэтической притяжительности, еще более приносившие к характеру времени и характеру русского ума и гораздо более разнообразные в своих движениях, – все сии явления, более или менее, продолжительнее или кратковременнее, наносили резкие впечатления на внимание общества нашего и возбуждали повсеместное сочувствие. Со всем тем, кажется, не страшась нареkania в неблагодарности и несправедливости к литературе отечественной, можно применить ее ко второму разряду из двух описанных выше. Так, она не есть жизнь народа нашего, а разве одна из блистательных отраслей общежития его: она не народный дар слова, не народный глагол, а одно изящное выражение народа, как музыка или живопись.

В русском обществе и в литературе русской не было и нет поныне сего обратного действия, сего перелива оттенков с одного на другую, сей жизни, так сказать, общей в двух телах, сей взаимности, от коей литературы других народов являются нам столь исполненными движения, страстей и личности. Нет сомнения, русское общество еще вполне не выразилось литературою. Русский народ сильнее, плечистее, громогласнее своей литературы. В сравнении с ним она несколько тщедушна. Место, занимаемое им в литературном мире, не соответствует тому, коим завладел он в мире политическом. Вы должны искать русских следов в истории двора, в истории походов, в истории успехов гражданственности: блестящие страницы могут здесь удовлетворять требованию честолюбия народного и явить, что сие общество, хотя еще мало говорливое, имеет во многих чертах свою физиогномию, свою нравственную самобытность. Одно книжное знакомство с ним увлекло бы вас к заключению, что нет общества, а есть только народонаселение. Русское общество не воспитано на чтении отечественных книг: вы не можете найти людей, которые чувствовали бы по Державину, мыслили бы по Княжнину, коих мнения развились бы и созрели под влиянием таких-то или других русских авторов. Это неоспоримо. Какое может быть на народ влияние литературы, не имеющей эпопеи, театра, романов, философов, публицистов, моралистов, историков? ибо один историк, и то историк давнопрошедших столетий, историк отечества своего, как ни сильно выразил он ум свой в творении своем, как ни верно воскресил он в нем наше прошлое, но действие его все же должно быть одностороннее и ограничено самыми пределами предначертанного ему круга. Если же захотеть найти непременно господствующую черту нашей литературы, то должно остановиться на поэзии лирической. Сие соображение может привести нас к заключению, что и у нас литература, или то, что из литературы имеем, есть также однозвучное выражение общества. Общество наше, гражданственность наша образовались победами. Не постепенными, не медленными успехами на поприще образованности; не долговременными, постоянными, трудными заслугами в деле человечества и просвещения, – нет: быстро и вооруженною рукою заняли мы почетное место в числе евро-

пейских держав. На полях сражений купили мы свою грамоту дворянства. Громы полтавской победы провозгласили наше уже бесспорное водворение в семейство европейское. Сии громы, сии торжественные, победные молебствия отозвались в поэзии нашей и дали ей направление. Следующие эпохи, более или менее ознаменованные завоеваниями, войнами блестящими, питали в ней сей дух воинственный, сию торжественность, которая, может быть, в последствии времени была уже более привычка и подражание и потому неудовлетворительна; но на первую пору была она точно истинная, живая и выражала совершенно главный характер нашего политического быта. Воинственная слава была лучшим достоянием русского народа: упоенные, ослепленные ею, радели мы мало о других родах славы. Военное достоинство было почти единою целью, единым упованием и средством для высшего звания народа, которое должно было вначале сосредоточивать в себе исключительно лучи просвещения, медленно разливавшегося по нижним ступеням общества. Военная деятельность удовлетворяла честолюбию народному и потребностям возникающего гражданства. Торжественные оды были плодами сего воинственного вдохновения. Лира Ломоносова была отголоском полтавских пушек. Напряжение лирического восторга сделалось после него и, без сомнения, от него общим характером нашей поэзии. Поэзии философической, прозе умеренной, которая более размышляет, нежели чувствует, более способна хладнокровно судить, нежели пламенно пристраститься, тут не было места. Ломоносов, Петров, Державин были бардами народа, почти всегда стоявшего под ружьем, народа, праздновавшего победы или готовившегося к новым. «Тебя Бога хвалим!» – была тема их воинственных песнопений. Они поэты присяжные, поэты-лауреаты – победы еще более, нежели двора. Сию поэзию, так сказать, официальную должно приписывать не столько характеру их, сколько характеру эпох, в которые они жили. Ничего нет общего в нравственных свойствах, в образовании, в частных обстоятельствах жизни трех наших лириков, но лира их настроена почти на один лад. Кажется, слышишь одни и те же звуки, за исключением особенных переливов и оттенков, которые образуют неминуемую принадлежность каждого самостоятельного дарования. Почему Кантемир, также поэт с великим дарованием, не имел последователей, а лирический наш триумвират подействовал так сильно на склонности поэтов и второстепенных? Потому, что для сатиры, для исследования, для суда общество не было еще готово. Кровь и умы тогда еще не довольно остыли и оселись. Это была пора молодости, волнения и восторженности. Кто и не имел на лире своей могучих и звучных струн, а туда же карабкался и хотел *пиндарить*. В этом отношении сатира «Чужой толк» не только прекрасное литературное произведение, но и нравственное свидетельство и замечательная обличительная ссылка для пояснения современных обстоятельств.

Лирическое, торжественное, хвалебное направление, данное поэзии нашей, не изменилось совершенно и в новейшие времена, когда другие потребности, другие усилия власти и гражданственности означились в явлениях более миролюбивых, но не менее сильных для честолюбия народа могущественного и повелительного. Торжественность, на которую была настроена лира Ломоносова, отзывается иногда и в лире Жуковского, который из мира созерцания и мечтательности вызываем бывал шумом победы и кликами празднующего народа на торжество действительности; отзывается и в лире самого Пушкина, коего гений свое нравный, казалось бы, должен быть столь независим от господства, удручающего других. В эпилоге «Кавказского пленника» вы найдете краски, приемы поэзии, ему исключительно свойственной; но в духе восторга, оживляющего сию воинственную поэзию, вы поддадитесь какому-то обратному влечению, вознесшему столь высоко в свое время поэзию Ломоносова и Державина. Предупреждая всякие превратные истолкования изложенного здесь мнения, спешу заявить, что замечание мое вовсе не есть критическое, или порицательное: я просто хотел опереть свое предположение на свидетельства и должен был для оправдания своего

предпочесть хотя изысканное, но яркое другим свидетельствам, более общим, но и менее убедительным.

Царствование Екатерины Великой, или *Великого*, по счастливому выражению принца де-Линь, должно было служить новым и сильным побуждением к направлению поэзии нашей, замеченному выше. Сие царствование громкое, великолепное, восторженное имело в себе много лирического. Его можно назвать высоким, торжественным гимном в истории отечественной. Все в нем способствовало к возвышению и славолению духа народного. Первенствующие лица, явившиеся на сцене его, были размера исполинского, героического: они рисуются пред глазами нашими озаренные лучами какой-то чудесности, баснословности, напоминающих нам действующие лица гомеровские. Это живые выходцы из «Илиады». Предоставляя истории оценивать каждого по достоинству, нельзя не сознаться, что Орловы, Потемкины, Румянцовы, Суворовы имели в себе что-то поэтическое и лирическое в особенности. Стройные имена их придавали какое-то благозвучие русскому стиху. Нет сомнения, есть поэзия и в собственных именах. Державин это знал и оставил свидетельство тому в одной из строф «Водопада». Поэт взывает к умершему Потемкину:

Потух лавровый твой венок,
Гранена булава упала,
Меч в полножны войти чуть мог,
Екатерина возрыдала!

В стихе, составленном из собственного имени и глагола, есть не одно верноподданническое, но и высокое поэтическое чувство. Этот стих, без сомнения, исключительно русский стих, но вместе с тем он и русская картина. Счастлив поэт, умевший пользоваться средствами, угадывать впечатления и высекать пламень поэзии из сочетания двух слов; но счастливее государь, который умел облечь имя свое красками и очарованием поэзии. Счастлив он, когда имя его, священное в летописях признательной истории, дарит сильные звуки и лире поэтов, которые дорожат истиною только тогда, когда она всемогуща над воображением. Но властолюбие и слава побед не были единими страстями, можно сказать, единими добродетелями Екатерины. В мужественной душе своей она ценила высоко храбрость и воинственный героизм. Однажды в приближенном обществе своем спросила она шутя Сегюра, принца де-Линь и других: «Если б я родилась мужчиною, как думаете вы, до какого военного чина дослужилась бы я?» Легко отгадать ответ: фельдмаршальский чин, достоинство отличного полководца были единые меты, которые поставляли честолюбию могущественной монархини. «Ошибаетесь, – прервала она, – в чине подпоручика нашла бы я смерть в первом сражении». Такой ответ обнаруживает душу; но душа, но ум Екатерины были доступны и другим впечатлениям. Душа ее вмещала в себе все отрасли человеческого славолубия; ум ее был отверст для всего возвышенного и способен на все усилия. В числе предметов, занимавших деятельность его, успехи образованности и просвещения были целью ее особенной заботливости. Она не только уважала ум, но любила, не только не чуждалась его, но снисходила к нему, но, так сказать, баловала и щадила неизбежные его уклонения. Самая современная эпоха благоприятствовала сему царственному пристрастию. Франция, униженная в политическом достоинстве своем, сошедшая с повелительной чреды, на которую возвела ее рука, некогда всемогущая, Людовика XIV, старалась развитием умственных способностей вновь захватить на другом поприще утраченное владычество свое. Усилия ее увенчаны были совершенным успехом. Версальский кабинет не имел в себе другого Ришелье, другого Мазарина; политика Европы не получала уже направления своего из Франции: но фернейский кабинет имел своего Ришелье, который с иными средствами едва ли был не могущественнее первого. Вольтер, представитель, орган, душа и глава сего нового рода

властолюбия, коего алкала надменная Франция, распространял во имя свое и собратий или учеников своих владычество гения своего и новых мнений на умы Европы, все еще покорной господству Франции. Екатерина с самых молодых лет полюбила французский язык и французскую литературу, которая тогда уже исторглась из ограниченного круга *изящных писмен* и мерного великолепия, прославившего ее во дни Людовика XIV. При дворе Елисаветы посвящала она лучшие уединенные часы свои на чтение авторов, раскрывших ум ее, рано созревший для глубокомысленных соображений философии и политики. Вступив на престол, воцарила она с собою правила, которые почерпнула в учении. Гласным покровительством, всеми обольстительными изъявлениями благоволения, свойственными власти монарха и утонченности женщины, содействовала она торжеству Вольтера и соучастников его во всемирном правлении умов и мнений. По справедливости должно, однако ж, заметить, что и до Екатерины правительство и двор признавали у нас власть просвещения европейского и не пренебрегали союзом с умственными знаменитостями современными. Вольтер уже в царствование Елисаветы был, так сказать, союзником на жалованьи у двора нашего; и если «История Петра Великого», подвиг, совершенный им в силу дипломатико-литературных сделок, не отвечает достоинству ни героя, ни писателя, то должно видеть в нем новое доказательство, что наемный союзник бывает обыкновенно мало надежен для пользы назначенного предприятия. Шувалов – не тот, который в царствование Екатерины писал французские стихи, принимаемые в Париже за произведение французской почвы, – но Шувалов писавший и сам русские стихи, а более известный и достойный известности потому, что он едва ли не первый почувствовал красоту стихов Ломоносова, покровительствовал ему и умел от него выслушивать резкие истины и благородные упреки, Шувалов, вельможа двора Елисаветы и любимец ее, был уже посредником между нами и европейскою литературою. Он имел в Женеве агента, Бориса Михайловича Солтыкова, кажется, им уполномоченного для сношений с Вольтером по предмету истории, им сочиняемой. Письма его к Шувалову – настоящие депеши о том, что делается в Делисах, тогдашнем местопребывании Вольтера. Вообще из переписок того времени, которые удалось нам прочесть, видно, какое постоянное участие принимали вельможи наши в движениях современной литературной деятельности. Новые понятия, смело провозглашаемые во Франции, имели тогда отголоски в Петербурге. Мы нашли в записках, оставленных княгиней Дашковой, что до 15-летнего возраста прочла она в доме дяди своего, графа Воронцова, сочинения Беля, Вольтера, Монтескье, Гельвеция: правда, прибавляет она, что, кроме Екатерины, тогда еще великой княгини и также в летах весьма молодых, и ее, никто из женщин в Петербурге не занимался подобным чтением. Легко поверить тому и едва ли можно жалеть о том. Подобное чтение, нельзя не сознаться, было несколько преждевременно, и просвещение, за ним следовавшее, должно было походить на то, в котором вообще обвиняют нас некоторые иностранцы: насильственно-прививное, скороспелое и потому ненадежное. Но между тем сие свидетельство в числе прочих доказывает, что отражение лучей, бросаемых Франциею, было не чуждо и вершинам нашего общества.

Замечательно, что сношения, завязавшиеся между Россиею и представителями европейского просвещения, не были начаты и продолжаемы равными с обеих сторон договаривающимися лицами: с одной видим литераторов, с другой двор и вельмож. Представители нашей литературы не были участниками в деле, которое, казалось, могло быть ближе к ним, нежели к тем, которые действовали. Литература и литераторы наши оставались в стороне. Один деятельный Сумароков умел как-то выманить письма Вольтера и заставить его заочно и на слово похвалить его трагедии. Даже в то время, когда один из полномочных посланников энциклопедического двора, Дидерот, приезжал в Россию, не последовало никакого сближения между им и нашими авторами. По крайней мере не отыскиваем ни одного следа тому ни в сочинениях Дидерота, ни в сочинениях соотечественников наших. То же можно заметить и

относительно к пребыванию Альфиери, Бернарден де Сен-Пьера и других известных писателей, посещавших Россию в то время. Все это подтверждает доказательство, что между литературой нашею и нашим обществом не было ничего взаимного; что на нее не действовали обыкновенные приливы и отливы общежития; что, подобно Русскому или Азовскому морю, чуждому движения, общего другим морям, и литература русская, не подверженная повсеместному закону, пребывает до времени в тишине бездействия, стихиею отдельною и неподвижною; что если могли мы заметить, как указали выше, некоторое действие, сотрясение, некоторое преходчивое впечатление, произведенное обществом или почти исключительно двором в явлениях литературы нашей или, вернее сказать, поэзии, то в самом обществе не найдем мы признаков, что литература отечественная входит в состав гражданского быта нашего, в число богатств нашего нравственного достояния. Изыскать и означить причины явления сего вовлечет в исследование слишком глубокое и многостороннее. Довольно указать на иные, которые более других на виду и едва ли не богаче в последствиях. Недостаток в основательном учении, недостаток в звании, которое по месту своему в чиновном положении гражданском могло бы исключительно посвящать себя трудам ума и видело бы в них единую цель, доступную честолюбию, свойственному всем званиям; обязанность дворянства, более или менее, но вообще грамотного, служить и алчная нетерпеливость достигнуть офицерского чина в лета, когда еще не стыдно быть слушателем университетских лекций, — вот, без сомнения, одни из главных причин застоя нашего в движениях мысли и творческой деятельности. От сих причин, несмотря на исполинское движение, данное России Петром, поощренное Екатериною и покровительствуемое преемниками их, нет у нас доньше литературы истинной, полной, коренной, литературы, которая была бы живою отраслью государственного благоденствия и непосредственным существованием людей, служащих отечеству трудами ума своего, как воин служит ему на поле брани, судия в храминах закона, торговец на поприще промышленности.

Сии соображения, сии применения наблюдений общих к положению частному, в котором находимся, родились в уме моем при мысли обозреть жизнь и труды Фон-Визина. Готовясь к сему начертанию, я хотел вникнуть в свой предмет, обойти его со всех сторон и коснуться до пределов, ему соприкосновенных. Не боюсь протяжения и плодovitости, может быть, оттого что не умею быть кратким. Любя видеть в литературе не одну науку слов, но и науку жизни, не науку, действующую в обведенном очерке и одиноко служащую себе средством и целью, но науку всеобъемлющую и вездесущую, помня, что если, по выражению Бюффона, в слогe весь человек (*le style c'est l'homme*), то в литературе весь народ, я должен был решительно приступить к исследованию подлежащего вопроса, не стесняясь схоластическими формами и этикетом академического благочиния.

Вот, так сказать, оглавление соображений, которые должны были служить мне руководствами в моих изысканиях и в согласовании оных.

Фон-Визин один из малого числа писателей наших, которые выразили себя в сочинениях своих; сочинений его немного, это правда, но он умел быть оригинальным посреди подражателей. Главные творения его имели много успеха в свое время; они носят на себе отпечаток ума и эпохи его, не утратили и ныне ходячей цены и сохранились в народном обращении.

Фон-Визин жил в царствование Екатерины. Она любила ум не только за границею, но и у себя дома, покровительствуя ему в чужих землях, благодетельствовала ему в отечестве. Примеры покровительства, оказываемого царями дарованиям и отличиям природным, нередки: в самой власти, потому что она есть держава и могущество, есть и должно быть обыкновенно тайное начало великодушия, возвышенное сочувствие, которые понимают всякую возвышенность и готовы сблизиться с нею; но двор Екатерины представляет нам еще одну черту, особенно ему свойственную. Многие из вельмож, любимцев власти, разделяли

с Екатериною благоволение ее к людям, которые соперничествовали им на поприще вовсе отдельном и противопоставляли аристократии породы и чинов отступную, непокорную аристократию ума и дарований. За границу ездили они на поклон к фернейскому отшельнику, отшельнику нового рода, который имел свой двор и своих ласкателей, предупреждали учтивостями и ласками всех чужестранных баловней литературной молвы и в своем отечестве не чуждались сообщества, а, напротив, искали приязни людей, заслуживших известность умом и несколькими остроумными страницами или счастливыми стихами.

Фон-Визин был современником эпохи благоприятной, был действующим лицом на сцене петербургской, в сей сфере деятельности русской, в сем средоточии русской гражданственности; он был преимущественно писатель драматический и сатирический, следовательно, живописец и поучитель нравов.

Обозревая сии указательные черты, я говорил себе, что из биографического портрета Фон-Визина может выйти историческая картина общества; но после многих исследований и применений не нашел ни связи, ни полноты в предмете своем, раскрытом на все стороны. В обществе не дознался я отголоска Фон-Визина и в самом Фон-Визине отыскал мало впечатков общества. Например, комедии его – не картина нравов, господствовавших в обществе ему предстоящем; он жил в столице, а описывал провинцию; изображенные им лица верны и подсмотрены с природы, но сходство их было почти отвлеченное, без живого применения к лицам, пред коими они были выведены. Комедии Фон-Визина были читаны и играны в Петербурге и в Москве; театров по губернским городам, домашних театров тогда если и было, то весьма немного, – следовательно, настоящие Простаковы в глуши губерний и деревень, вероятно, и не знали, что двор смеется над ними, глядя на их изображения. Вероятно, были *недоросли* и *бригадиры* и в числе зрителей комических картин Фон-Визина; но комик колот не их глаза. Смех их был оттого свободнее, но менее было и пользы. Следовательно, и здесь автор и публика его не были в борьбе лицом к лицу и рука с рукою. Это не то что Мольер, который списывал с натуры знакомых тартюфов, маркизов, жеманок и призывал оригиналов своих на очную ставку с уличительными портретами. Но довольно: к комедиям Фон-Визина обратимся в свое время.

После продолжительного введения пора приступить к самому предмету, подлежащему рассмотрению нашему: жизни и литературным трудам Фон-Визина. И здесь придется нам сетовать о скудости способов и средств применять жизнь действительную к явлениям жизни умственной. Биографические материалы у нас так недостаточны, что, при неимении принадлежностей и красок для написания исторической картины, едва ли можем написать и портрет во весь рост. Наша народная память незаботлива и неблагодарна. Поглощаясь суедами и сплетнями нынешнего дня, она не имеет в себе места для преданий вчерашнего.

Лишенные чужих вспомогательных источников, мы можем, по крайней мере, черпать в источнике, оставленном нам самим Фон-Визиным. Он несколько облегчил труд биографа своего. Сверх сочинений, в которых, как заметили мы выше, выразил он ум свой и образ мыслей в чертах довольно оригинальных, имеем в виду еще и другие пособия: часть *Исповеди* его, письма в родственникам и приятелям, письма к нему от некоторых замечательных лиц, равные бумаги деловые, политические и совершенно домашние, которые не менее других любопытны в своем роде и носят на себе живые следы обычаев его и частной жизни.

Глава II

Генеалогия Фон-Визиных. – Барон Петр Владимиров Фон-Визин. – Денис Фон-Визин. – Грамота Царя, Великого князя Михаила Феодоровича, пожалованная Денису Фон-Визину. – Иван Андреевич Фон-Визин (отец автора). – Павел Иванович (брат его). – Сестра Фон-Визина, вышедшая за Аргамакова, и ее сын. – Нравственность родителей Фон-Визина. – Рождение его. – Детство. – Влияние старинного образа воспитания на способ выражаться, а, следовательно и на слог Фон-Визина. – Славянизмы и галлицизмы – главный недостаток его слога. – Хорошая сторона прежнего домашнего воспитания. – Мнение Карамзина о народности. – Фон-Визин в Московском Университете. – Иван Иванович Мелиссино отправляет Фон-Визина с братом, в числе 10 лучших воспитанников, для представления куратору Университета Ивану Ивановичу Шувалову, в С.-Петербург. – Потемкин. – Встреча с Ломоносовым в доме Шувалова. – Впечатления Двора и театра на ум Фон-Визина. – Первый литературный труд его, перевод басен *Гольберга*. – Награда за него, состоявшая в платеже соблазнительными книгами. – Второй перевод его: *Жизнь Сифа, Царя Египетского*. – Замечания о содержании этого сочинения и переводе. – *Превращения Овидиевы*. – Поэтические произведения Фон-Визина: *Послание к слугам моим* и басня *Лисица Кознодей*. – Отсутствие в Фон-Визине поэтического таланта. – Перевод *Ельзиры*. – Сатирическое послание А. С. Хвостова. – Конец первого периода жизни Фон-Визина. – Взгляд на тогдашнее время.

Изыскания родословные не нужны в биографии литератора: дарование не майорат. Но здесь любопытство возбуждается генеалогическою странностью. Почетная частица *фон* кажется столь неуместною пред именем творца *Недоросля* и *Послания к Шумилову*, что заслуживает она некоторого пояснения. Род Фон-Визиных, или, по-прежнему правописанию, фан-Фисиных, как видно из законных документов, происходит от знаменитых предков, бывших в разных землях владетелями городов. В царствование Иоанна Васильевича, во время войны против Ливонии, взят был в плен рыцарь братства меченосцев, Петр барон Володимиров сын Фон-Визин, с сыном его Денисом. В царствование царя Алексея Михайловича внук его принял Греко-Российское исповедание, по крещении назван Афанасием и пожалован в стольники. Грамотою царя и великого князя Михаила Феодоровича род Фон-Визиных причисляется к родам, возвышающим достоинство свое историческими воспоминаниями. В ней сказано, что во время осады Москвы Владиславом, Денис Фон-Визин, «помня Бога и Пречистую Богородицу, и православную христианскую веру в наше крестное целование, с нами, великим государем, в осаде сидел, и за православную христианскую веру, и за святые Божия церкви, и за нас, великого государя, царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Руси, на Москве против королевича Владислава и Польских и Литовских, и Немецких людей и Черкас стоял крепко и мужественно, и на боех и на приступех бился, не щадя головы своей, и ни на какие королевичевы прелести не прельстился, и многую свою службу и правду к нам и ко всему Московскому государству показал, и будучи в осаде, во всем оскудение и нужду терпел». Следовательно, потомок и соименник его – русский не одним пером своим.

Отец автора нашего, Иван Андреевич Фон-Визин, служил в Ревизион-коллегии членом в чине коллежского советника; уволен был статским советником; жил в Москве, в собственном доме близ Московского университета. Но в этом ли доме родился творец *Недоросля*, о том мы узнать не могли. Для дополнения скажем, что в летописях литературы нашей известно имя и другого сына его, Павла Ивановича, оставившего по себе некоторые стихотворения и переводы, напечатанные в ежемесячном сочинении *Доброе намерение*, изданном в Москве 1764 года. Одна из сестер автора нашего, по замужеству своему Аргамакова, упражнялась также в литературных занятиях в перевела несколько повестей Мармонтеля.

Сын ее, бывший после Преображенского полка полковником, товарищ и друг Марина, был также поэтом в кругу однополчан и приятелей. Фон-Визин сохранил нам в *Исповеди* своей прекрасные воспоминания о нравственности родителей своих, и в особенности об отце, коего характер являет черты редкой твердости и великодушия. Замечательно, что в старину, при недостатке знания в иностранных языках, люди, одаренные умом любопытствующим, мог ли почерпнуть некоторую образованность в современных русских переводах, которые тогда были гораздо разнообразнее и удовлетворительнее, нежели в ваше время. Ныне, без помощи иностранного языка, почти читать у нас нечего: переводчиков нет, или труды их обращены на книги, или, лучше сказать, заглавия книг в чести у книгопродавцев, которые часто не питают, а отравляют вкус читающей публики; исключения редки. Поверьте, например, итоги переводов, вышедших от семидесятых годов до нашего столетия, с итогами нашего тридцатилетия, и вы убедитесь, что наша литература переводная упала против прежнего. Тогда все, или почти все, замечательные творения древности и совершенной эпохи имели у нас переводчиков; ныне знаменитейшие писатели нашего времени знакомы нам по одним журнальным перекличкам. При тогдашних пособиях и не удивительно, что отец Фон-Визина, хотя и лишенный выгод образованного воспитания, любил чтение исторических и нравоучительных сочинений и мог удовлетворять свои наклонности. Старые книги наши уже не в ходу: с одной стороны, их нет в обращении книжной торговли, с другой, обветшалый язык их, тяжелый слог пугают новых читателей: таким образом провинциалы губернские и столичные, требующие пищи умственной, должны довольствоваться малосочною и скороспелую пищею журналов и альманахов.

Год рождения автора нашего не был донныне достоверно определен. В *Исповеди* не означает он эпохи рождения своего, и в *Опыте исторического словаря о Российских писателях*, изданном Новиковым, при жизни Фон-Визина о том умолчено. По биографическим сведениям о нем, собранным преосвященным Евгением в журнале *Друг просвещения* и в *Опыте краткой истории русской литературы*, Греча, показано, что он родился 1745 года; но по другим указаниям и соображениям можно предполагать утвердительнее, что он родился в 1744 году. Автор ваш, говоря о детстве своем, показывает, что оно было означено резкими чертами характера пылкого и решительного. Авторские склонности обнаружились в малолетстве его раннею чувствительностию, раздражительным воображением и жадностью, с которою вслушивался он в рассказы, пробуждавшие его ребяческое внимание. Тогдашнее воспитание, при недостатках своих, имело и свойственные ему выгоды: ребенок оставался долее на русских руках, долее окружен был русскою атмосферою, в которой знакомился ранее и более их языком и обычаями русскими. Европейское воспитание, которое уже в возмужалом возрасте довершало воспитание домашнее, исправляло предрассудки, просвещало ум, не искореняло впечатлений первоначальных, которые были преимущественно отечественные. Укажем на одно свидетельство: большая часть переписки государственных людей царствования Екатерины велась на русском языке, не смотря на господство языка французского и нравов иноплеменных. После видим мы совершенно противное: первые звуки, первые понятия, кои передавали детству другого поколения, были исключительно иностранные, потому что ребенок с груди кормилицы русской обыкновенно вверяем был рукам чужеземцев. Уже только позднее в годах юношества, а часто и в возрасте, уже перезрелом для исправления погрешностей вкоренившихся, русский гражданин, по собственному обратному влечению и как будто по уязвлению пробудившейся совести, обращался к изучению отечественного. Более домоседства в жизни родителей, более приверженности к исправлению частных обязанностей и соблюдению обрядов русского православия, может быть, менее суетности, но в семейственном кругу более живого участия в делах общественных, и между тем более независимости в нравах, способствовали тогда к некоторому практическому гражданскому воспитанию: оно имело свои недостатки и весьма важные; но, как замечено выше, имело в себе

что-то положительное, действовавшее в народном смысле. Ныне воспитание наше слишком отвлечено и, пущенное в рост, ни на чем не упирается в коренном основании. Например, мы видим, что старик отец Фон-Визин заставлял сына читать у крестов во время всенощных бдений, которые часто отправлялись у них дома; позднее детей другого поколения заставляли прежде всего вытвердить наизусть

La cigale ayant chanté
Tout Pété.....

Не соглашаюсь с автором, который приписывает упомянутым благочестивым упражнениям знание свое в русском языке. Дьячки и семинаристы, которые верно более его читали священные книги, не почитаются же у нас знатоками в языке и правильнейшими грамотеями. Помощь Славянского языка, вопреки мнению его собственному и мнению многих литераторов наших, была не только не полезна, но может быть и вредна Фон-Визину: он без размышления пользовался ею и не умел справиться в согласовании языка церковного с языком общества, когда покушался на такое сочетание. Слог Фон-Визина – слог мыслящего писателя; но неуместная пестрота галлицизмов и славянизмов, встречающаяся в творениях его, не позволяет изучать его в отношении искусства, как писателя образцового. К тому же, если слова и обороты Славянские и могли бы иногда пригодиться ему в переводе творений, подобных *Иосифу* и «Похвальному слову Марку Аврелию», то мог ли он употреблять их с успехом в языке комедий, сатирических и философических статей, и в слоге письменном, в которых преимущественно выразились жизнь и сила дарования его? Не менее того я готов признать, что самые сии упражнения имели без сомнения влияние и на развитие способностей будущего писателя, но не в художественном, а более в нравственном образовании. Я не исключительный поклонник старины; не ослепляюсь предрассудками, которые силятся удерживать поколения неподвижно, как часовых, поочередно сменяющихся на одном и том же месте; не разделяю безусловно страха людей, которые пугаются смелыми движениями времени и просвещения; но притом жалею, что новое воспитание, многосложив обязанности и требования юношества, не умело теснее согласовать необходимые условия русского происхождения с независимостью Европейского космополитства. Карамзин, защищая Петра Великого от обвинений, что он лишил нас русской нравственной физиономии (а, впрочем, и физической, обрив нам бороды), говорит; «Все народное, ничто пред человеческим. Главное дело быть людьми, а не Славянами». Истина возвышенная и прекрасное правило политической мудрости, которое можно пополнить и пояснить тем, что должно быть прежде или более гражданином, нежели семьянином. Но в применении к воспитанию частному, т. е. личному, а не народному, не должно терять из виду, что именно для того, чтобы быть европейцем, должно начать быть Русским. Россия, подобно другим государствам, соучастница в общем деле европейском и, следовательно, должна в сынах своих иметь полномочных представителей за себя. Русский, перерожденный во француза, француз в англичанина, и так далее, останутся всегда сиротами на родине и не усыновленными чужбиною.

При самом основании Московского университета, Фон-Визин поступил в число воспитанников его. Университет с гордостью может выставить имя сие в начале летописей своих и прав на благодарность отечества. С другой стороны, может он и сослаться на него, как на свидетельство счастья. В самом деле, то, что автор рассказывает сам о нравственном и учебном состоянии сего заведения, хотя очень забавно, но мало назидательно. И если вспомнить, что он получил в награждение медаль на экзамене за то, что на вопрос: куда впадает Волга? отвечал он «не знаю», когда из товарищей его один назвал Белое, а другой Черное море, то легко убедиться, что дарования Фон-Визина образовались не только независимо от

университета, но, может быть, и вопреки ему. В одной из программ диспутов и рассуждений, назначенных для университетского собрания, находим следующее: «Денис фон-Визин стараться будет показать щедрость и прозорливость Ее Императорского Величества, всещедрой Муз Основательницы в Покровительницы». И в других свидетельствах университетских встречается после неоднократно имя его, упомянутое с похвалою. Наконец, позднее видим, что природные способности воспитанника были столь блестящи, или директор московского университета, Иван Иванович Мелиссино, был одарен такою прозорливостью, что когда должно было представить в Петербург выставку нового заведения на показ их куратору (и кто же был сей куратор? Иван Иванович Шувалов!), то Фон-Визин и брат его были в числе десяти избранных воспитанников. Между ними встречаем и другое имя, которое некогда должно было заимствовать столько блеска в громкой звучности от прилагательного «Таврический». В числе разительнейших впечатлений, пробудивших внимание 14-летнего отрока в приезд его в Петербург, была встреча у Шувалова и знакомство с человеком, который мог бы один служить выражением русской образованности, столь же внезапной, как и он, с человеком, неприготовленным событиями и ознаменовавшимся в ученом мире явлением столь же самовластным, как и Петр Великий в мире государственном, – с Ломоносовым! Блеск и величие двора, коему представлены были воспитанники, и новость театральных зрелищ оставили также живые следы в чутком и наблюдательном уме его. Может быть, встрече с Ломоносовым и смеху, порожденному игрою актера Шумского, обязаны мы наиболее, что в Фон-Визине имеем писателя, а от него хорошие комедии. Дарования не врождаются, но часто развертываются случаем. Посещениям театра обязан он был и оскорблением самолюбия, обратившимся в пользу его. Молодой барич, столкнувшийся с ним в партере, начал, после ласковых приветствий, трунить над ним, узнав, что он не говорит по-французски. По возвращении своем в Москву, Фон-Визин обратился с прилежанием к изучению языка сего и, вероятно, ревностнее принялся и за другие науки. Между тем, если Фон-Визин не был еще тогда писателем, то по крайней мере был уже работником на книгопродавцев. В 1761 году уже напечатан перевод его басней Гольберга, и для тогдашнего времени язык перевода замечательно чист и свободен. Сей первый труд оставил по себе пагубные следы в жизни его. Книгопродавец, заказавший эту работу, дал ему на все на пятьдесят рублей книг соблазнительных, которые распалили молодое воображение. По самому признанию Фон-Визина, сии первые впечатления отозвались на всю жизнь в здоровье его и, может быть, приготовили преждевременный и болезненный ее конец. Сие самое соглашается и с изустными преданиями, которые, если они достоверны, поясняют слова *Исповеди*. За первым переводом следовал скоро и другой: *Жизнь Сиды, царя Египетского*. Подлинник написан на французском языке аббатом Терассоном; но Фон-Визин перевел его с немецкого перевода. Сей нравственный, или классическо-нравоучительный роман (называемый в подлиннике *Séthos*), написан, вероятно, в подражание *Телемаку* и пользовался в свое время уважением. В особенности славилась в сем сочинении речь главного Мемфисского жреца, произнесенная при погребении царицы, матери Сифовой. В сей речи, под видом похвалы усопшей, ясно изложены правила чистой политической нравственности. По словам Даламберта, Шатон присоветовал бы их читать в назидание царям; он же говорит, что Тацит восхитился бы сею речью. Французские философы того века любили, как смелые новизны, истины, впрочем весьма почтенные, но которые ныне показались бы или излишне напряженными, или слишком обыкновенными. К подтверждению сего довольно упомянуть о всеобщем успехе *Велизария*. Мы не можем в наше время присвоить себе задним числом благоприятных предубеждений другого века; но все и в наш было бы неблагодарно судить с неуместною строгостью творения, которые первые распространили владычество практической философии и терпимости от чертогов царей до нижних степеней общества. Нельзя не заметить, что сей род нравоучительных романов, довольно скучных (не на зло нравственности будь сказано), был особенно во

вкусе читателей наших протекшего столетия. Сверх переводов, имеем мы и в оригинальных творениях той эпохи свидетельства сей нравственной наклонности умов наших. Укажем на *Арфаксада, Кадма и Гармонию, Полидора*. И в некоторых позднейших явлениях нашей словесности найдем, может быть, следы сего поучительного направления. Читатели наши не боятся скуки, и многие из русских авторов пользуются сею народною безбоязненностью. Комики, повествователи наши, мало заботятся о занимательности, разнообразия и живой веселости творений своих: быть нравоучительными достаточно для их назидательного смиренномудрия. Можно бы заметить, что автор, который, по заглавию своего романа, обязывается быть сатирическим и нравоучительным, уже самым обязательством своим охлаждает любопытство читателя; он похож на говоруна, который, начиная рассказ, говорит: «Я вам расскажу уморительный анекдот», в сам хохочет в задаток, так что предисловием в предварительным хохотом обдаёт он холодом и онемением своих слушателей. Можно бы заметить, что ничего нет менее комического *комического романа*, писанного Скарроном, и менее исторического – *исторических романов* г-жи Жанлис; но объяснения сих замечаний завлекли бы нас в рассуждения, посторонние предмету вашему. Мы хотели единственно, вследствие принятого нам правила, оглядываться кругом, следуя по дороге, нам предлежащей, и указать мимоходом на отличительные приметы литературы нашей. Русский перевод *Сифа* пользовался при самом появлении своем честью, которой удостоились немногие русские книги и в наше время. В периодическом издании, под названием *Собрание лучших сочинений* и проч., коего редактором в 1762 году был профессор Рейхель, есть весьма замечательное известие о сем переводе. Не в укор журналистам новейшим будь сказано, мало найдется у них критических статей, столь европейских по изложению, мыслям и общим сведениям. В сем известии, между похвальными отзывами о способностях и заслугах молодого переводчика, упоминается и о переведенных им *Превращениях Овидиевых*. Нет следов к проверке, что сделалось с сим переводом; но Рейхель должен был знать о нем достоверно: ибо Фон-Визин был одним из деятельных участников в сем периодическом издании, содержащем несколько переводов его.

К этому же времени относятся первое покушение его на поприще поэзии. Он не был рожден поэтом, ни даже искусным стихотворцем, хотя и оставил несколько хороших сатирических стихов в *Послании к слугам* и к басне *Лисица-кознодей*. В одном письме к Елагину он сам говорит: «Пишу стихи, которые стоят мне не только неизреченного труда, но и головной болезни, так что лекарь мой предписал мне в диете отнюдь не пить Английского пива и не писать стихов». Перевод его *Альзири* должен быть признан более за упражнение ученическое в стихотворстве и французском языке, нежели за произведение поэтическое. Переводчик говорит и сам в *Исповеди* своей: «Сей перевод есть не что иное, как грех юности моей; но со всем тем встречаются и в нем хорошие стихи». Признаемся, должно иметь родительское сочувствие для подобной встречи. Нам со стороны не удалось встретить ни одного хорошего стиха. Насмешники старого века, и между ними А. С. Хвостов, смеялись над неудачею перевода. Вот некоторые стихи из сатирического послания его к Фон-Визину:

Не ты ль у старика Вольтера отнял честь,
Как удалось тебе Альзиру перевесть?
Что муза у тебя душою покривила,
Напав в иных местах на смысл Вольтеров с тыла;
Что с мыслью автора разъехался в других,
И что меж прочими в трагедии есть стих,
Которого она совсем не разумела,
Не ты в том виноват; чего она смотрела,
Нельзя, чтоб ты меча с песком не распознал,

Ни столько мудрыми очами захворал.

Сие послание, отличающееся более личностями, нежели язвительным остроумием, может служить доказательством, что авторские перебранки и у нас не со вчерашнего дня. Наши новейшие ратоборцы имеют также свои рыцарские предания, пергаменты и родословные. Впрочем, заметить должно, что упомянутое послание не было в свое время напечатано.

Кажется, здесь кончается первый период жизни Фон-Визина, период приговорительных лет пред вступлением на сцену действия общежития и в литературе. Сии годы искуса не совсем бесцветны. В младенчестве общежития нашего и люди начинали жить ранее. Общество дорожило всеми признаками расцветающих надежд. Мы видели, что автор наш, почти еще ребенок, обращал на себя внимание, выставлен был на показ заботливым начальством, отыскан книгопродавцами и, одним словом, был уже на виду в лета, в кои ныне было бы трудно отделиться от толпы сверстников. Правда, что ныне и требования взыскательнее; но со всем тем, вероятно, и старейшины тогдашнего общества были внимательнее к новым поступающим членам. О многих доказательствах, оправдывающих мое предположение,

Молчу:
Два века ссорить не хочу.

Но по крайней мере, чтоб не поссориться с своим веком, ограждаюсь следующим объяснением. В старину менее могли надеяться на силу событий, на силу нравственную, еще не обдержанную, еще мало утвердившуюся: тяжба просвещения и образованности тогда не была еще решена временем; нужны были единомышленники, и каждое лицо надежное было на примете, завербовано и задобрено отличиями. Тогда просвещение образовало раскол, а в каждом расколе обнаруживаются жар, пристрастие, деятельность. Ныне просвещение – господствующая вера в нравственном мире, и потому оно спокойнее. Эпохи, подобные прежней, благоприятны для личного честолюбия. По крайней мере мы видим, что автор ваш вышел в люди сам собою: кажется, ни родственные связи, ни счастливые случайности не проложили ему попутных следов.

Глава III

Вступление Фон-Визина, в 1762 году, в службу. – Вице-Канцлер К. Голицын определяет его в Иностранную коллегию. – Первое время службы. – Отправка его в *Шверин*. – Расположение к нему кабинет министра Ив. П. *Елагина*. – Замечание об Елагине. – Роман: *Приключение Маркиза Г.* – Порошин. – Вражда с Лукиным. – Тогдашнее вольнодумство. – Москва и Петербург. – Дружба с Тепловым. – Замечание о Теплове. – Непокколебимость в вере. – Перевод сочинения *Самуила Кларка* «Доказательство бытия Божия». – Взгляд на роль Кутейкина (в комедии Недоросль), как вывеску тогдашней эпохи. – Раскаianie Фон-Визина. – Некоторые известия о послании к слугам моим. – Об успехе комедии: *Бригадир*. – Фон-Визин читает свою комедию Императрице. – Конец записок его «Исповеди». – Недостаток материалов для дальнейшего продолжения его биографии

В 1762 году находим Фон-Визина в службе, а по приезде Двора в Москву уже известным вице-канцлеру князю Голицыну, который перевел его в Иностранную Коллегию. Тут удостоен он был внимания канцлера, поручавшего ему перевод важнейших бумаг. Другое поручение, лестное для самолюбия в приятное для любопытства молодого человека, было наградой за труды по службе, замеченные начальством, он в том же году послан был в Шверинскому двору в возвратился со свидетельствами уважения, заслуженного им в поездке своей. На другой год сблизился по службе, а потом и по приязни, с Иваном Перфильевичем Елагиным, бывшим тогда кабинет-министром в пользовавшимся в свое время славою умного человека и отличного писателя. Ныне слава его в последнем отношении значительно убавилась. Наше поколение знает его более понаслышке, а роман, им переведенный, *Приключение Маркиза Г.*, по забавной шутке Крылова в комедии *Урок дочкам*. Что ж касается до сего перевода, то, по некоторым преданиям, подкрепленным очевидным различием в слоге романа и например *Опыта повествования о России*, и разностью в слоге самого перевода, кажется, что перевод сей, выданный под его именем, одолжен бытием первых четырех томов Порошину, находившемуся при Великом Князе Павле Петровиче, а последнего Лукину, который был секретарем кабинет-министра. Теперь лучшею похвалою Елагину остается мнение, которое Фон-Визин изложил о нем в *Исповеди*. Мы не подтвердим за ним, что он прославился своим витийством на русском языке; но будем помнить с признательностью, что он покровительствовал молодым писателям в то время, когда покровительство было еще нужно. В Елагине сия благосклонность к отечественным дарованиям тем более достойна уважения, что смирение духа не было отличительною его приметою. Ему приписывают следующий отзыв: «Не знаю, чему дивятся в Вольтере: я не простил бы себе, если б усомнился сравниться с ним в чем бы то ни было». К сожалению, покровительство вышних не всегда бывает без примеси неудовольствий для лиц, взысканных покровительством. Елагин, благоприятствуя Фон-Визину, был отменно хорошо расположен и к Лукину. Будущий комик наш никак не мог ужиться с автором комедий, ныне неизвестных, но имевших некогда свою цветущую эпоху. Лукин был, видно, проворлив и старался задатком мстить при начальнике сопернику, еще неведомому, который после должен был выжить успехи его с другого поприща. Фон-Визин в *Исповеди* говорит довольно подробно и с чувством живейшего оскорбления о неудовольствиях, нанесенных ему Лукиным в доме Елагина. В письмах его отыскиваем и другие свидетельства сей неприязни. Лукин не был в миролюбивом сношении с совместниками, в которых видел он опасных соперников. По другим указаниям знаем мы, что он в споре был и с Сумароковым (*Записки Порошина*).

С просвещением Европейским переходили к нам и современные заблуждения, неизбежные для ума человеческого во всех его переломах. В движениях своих ум всегда каким-нибудь концом, но впадает в крайность; ему не дается равновесие. Каждая эпоха бытия чело-

веческого ознаменована была одною господствующею мыслию, одним исключительным пристрастием, которые общим влечением и частными препятствиями возрастали до исступления страсти: ибо страсть не что иное, как мысль, или чувство, превосмогающее все другие и все поглощающее. Эпохи религиозных вдохновений были омрачены суеверием и окровавлены жертвоприношениями фанатизма. Можно сказать, что эпоха, современная молодости Фон-Визина, носит на себе признаки противоположного фанатизма – фанатизма свободы мыслящей, неограниченных исследований, нетерпеливых покушений ума разрешать себя от уз тягостной опеки давности и вступить со дня на день в права и независимость совершеннолетия. С одной стороны, излишество собственной силы и самонадеянности, с другой – притязания противников, и здесь совращали ум с стези, равно отстоящей от крайностей. Запальчивое поколение, опираясь на права свои, пренебрегало верным, но медленным содействием времени и хотело удержать победу свою в возникшей тяжбе не порядком судебного производства, но силою и с боя. Мы видели, как русское общество, или, по крайней мере, верхние оконечности оно, были под влиянием французским. Вольнодумство в предметах религии должно было у нас иметь своих последователей и скорее, нежели политическое: ибо оно отвлеченнее другого и не требует ни размышлений, ни приготовленных событий, ни предварительных сведений. Может быть, у нас ума и особенно были способны к впечатлениям нового образа мыслей и к самым излишествам его. Рука могущего Петра должна была, для созидания нового устройства, потрясти и совершенно искоренить много старых предрассудков, преданий, поверий, привычек гражданственных и народных. Общество наше, пересаженное со старой почвы на новую, было сначала неминуемо зыбко и подвержено влияниям внешним. Великие переломы в жизни народа, хотя полезные и способствующие к полному развитию нравственных сил его, походят на переломы в жизни человека, сопровождающие переход его из возраста в возраст, пока он не совершенно возмужает. Они род недугов, в которых организм не имеет надлежащих сил и согласия, и в которых тело более способно к принятию заразительных болезней, господствующих в атмосфере. Мы слышим и ныне от некоторых эмпириков политических и нравственных, что наш век есть век больной. Положим, но в таком случае понадемся, что болезнь его есть болезнь к росту. Оставим Провидению развивать силы человеческого организма по предначертанным правилам, и не станем, подобно слепым врачам, часто противоречить природе и прикладывать, наобум или упрямо, свои искусственные пособия там, где она сама умеет врачевать недуги, которые допускает. Что сказали бы вы о враче, который, для облегчения страданий младенца, захотел бы вырвать прорезывающиеся у него зубы? Таким образом поветрие французского религиозного вольнодумства действовало и у нас на людей, кои находились в упомянутом кризисе и по выдававшемуся вперед месту своему в обществе были ближе к давлению внешнему.

Молодой Фон-Визин, перенесенный из благочестивого дома родителей, от набожных упражнений в чтении молитв и священных книг, очутился вдруг посреди круга людей, которые образом мыслей своих были столетием впереди от тех, коих он оставил в Москве. И ныне Москва, в некотором отношении, все еще метрополия старины: при всех изменениях нового общежития, в ней еще устоял древний капище русского быта. Сей капище, так сказать, упразднен; можно сказать, и вовсе не эпиграмматически, что и священные стражи не спасли его от нашествия новых понятий и подоспевших поколений: но святыня, хотя и в упадке, все еще существует; она все еще доступна благоговейному чувству и в то время, когда уже утратила свое прежнее благолепие. Прежде различие между обеими столицами было еще разительнее. Любопытно видеть в *Исповеди* автора нашего, как он бывал смущаем резкостью мнений, свободно разглашаемых в беседах Петербургских; но вместе с тем, как он и сам поддавался общему потоку и принес дань ему *Посланием* к слугам своим. Жаль, что записки его прекращаются около этого времени. Сии Петербургские философические обеды у какого-то князя ***, подобие парижских обедов барона Гольбаха; этот Чеб..., дру-

гой Нежов, Дидеротовский приятель, который, встретясь с гвардейским унтер-офицером на гостином дворе, приветствует его словом, которым сам Дидерот сказывают, в бытность свою в Петербурге, после жаркого обеда, приветствовал преосвященного Платона – все это кидает живые краски на эпоху и отцвечивает общество наше самым любопытным образом. Вскоре, однако ж, молодой Фон-Визин, уже и до того, как видим из слов его, недовольный сомнениями, испуганный безнадежностью разглашаемого учения и тоскующий по изысканию истины более отрадней, нашел в Теплове вожатого, который подкрепил испытываемые усилия его в обратил их к цели, обещающей в награду по крайней мере упование. Сей Теплов, начавший свое гражданское поприще учеными занятиями в звании адъютанта при Императорской Академии Наук, был после сенатором и оставил по себе нравственные сочинения: *Знания вообще до философии касающиеся* и *Наставления сыну*. Он познакомил Фон-Визина с творением Самуила Кларка «Доказательства бытия Божия», которое сей последний и перевел. Сие упражнение было, кажется, перелом в образе мыслей его. Впрочем, если обратить внимание на раскаяние его в соблазне, который мог он нанести шутками, рассыпанными в *Послании к слугам* и в некоторых сценах *Бригадира*, то должно заметить, что и в позднейшем творении его: *Недоросль* роль Кутейкина могла бы также смутить православие несколько строгих читателей. Роль сия замечательна как вывеска эпохи: здесь вспомнишь определение Этьена, комика французского, «комедия – история народов». Ныне комический писатель не осмелился бы выставить подобное лицо на посмеище зрителей; а в то время Фон-Визин, даже и по обращении своем, нарисовал его шутливым пером и вывел на сцену, не боясь ни цензуры совести, ни совестливости цензуры. Другие комедии той же эпохи показывают подобное направление умов. В числе прочих замечательна в этом отношении комедия *О, время* особенно же, если вспомнишь кем она писана.

Между тем, как ни любопытны указания, ярко обозначающие общество тогдашнего времени и сохранившиеся для нас едва ли не в одних записках Фон-Визина, однако нельзя предаваться вовсе без оглядки излишним смирением, которое отзывается в поздней *Исповеди* его. Писав ее незадолго до кончины своей, он имел в виду одно христианское раскаяние, как и сам говорит. Несколько ударов паралича, постигнувших его в разные времена, должны были лишить его бодрости и свежести ума, потребных для ясного изображения себя в для заключения приговора над собою, независимого от немощи природы нашей. По крайней мере, мы не признаем в сочинениях его никаких признаков непозволительного кощунства. Как раскаяние его ни назидательно и ни почтенно, если оно произвольное излишнее сердца, но все можно защитить его от него самого и от упреков слишком пугливой совести. Само собою разумеется, что мы судим о *Исповеди* его не в христианском отношении, не подлежащем дерзкому исследованию ума. По христианской оценке, кто из людей не грешен и кто не имеет нужды в исповеди? Касательно *Послания к слугам моим* любопытно сведение, приведенное сочинителем *Нового опыта исторического словаря о Российских писателях*, который печатал драгоценные биографические материалы свои в журнале *Друг просвещения*. Он говорит, что оно было в первый раз напечатано в Москве «во время данного от двора народу публичного на сырной неделе маскарада, когда на три дня во всех Московских типографиях позволена была свобода печатания». Наши старания удостовериться в существовании сих замечательных литературных сатурналий и в истине упомянутого доказательства остались безуспешны. Предоставляем библиографическим изыскателям решительную поверку запроса, столь любопытного в летописях гражданства и литературы в России. Буде сии сомнения разрешаются положительно, то не менее достойно внимания и разыскание, не были ли и другие, в какие именно, сочинения напечатаны в то же время.

В рассуждении наблюдения нравов и духа времени весьма важен успех, увенчавший комедию *Бригадир* в избранном кругу именитостей тогдашнего общества. Фон-Визин подробно рассказывает о том в своей *Исповеди*. Начиная от Государыни и молодого Наслед-

ника, все первейшие лица в Петербурге наперерыв приглашали автора и слушали чтение комедии его. Может быть, не в первый ли раз случилось тогда русскому автору быть в моде. Ломоносов и Сумароков пользовались уважением и славою; но едва ли честолюбию их приносимы были сии мелочные, но соблазнительные дани, которые, так сказать, ручнее и употребительнее. К тому же Ломоносов самым свойством дарований и занятий своих не мог быть светским человеком; Сумароков по уму своему, напротив, хотя и мог играть блестящее лицо в обществе, но неуживчивость его и, вероятно, другие несообразности в нраве, вредили ему в удержании за собою места, на которое он по отношениям другим имел несомненные права. Слава, награды, утверждаемые временем, похожи на недвижимые имущества, которыми пользуемся медленно и продолжительно; молва, упоения тщеславия похожи на реализованные капиталы, которые скорее уплывают, но за то проживаются веселее. Можно сказать в этом отношении, что Фон-Визин пожил на своем веку. Русский автор, который с бала во дворце приглашается Екатериною в приближенное общество ее, читает перед нею свою комедию, заслуживает одобрение высокой слушательницы, есть событие, которое авторское поколение может внести в летопись своих блестящих воспоминаний. Бывают эпохи, когда знаки отличия необходимы для возбуждения гражданского честолюбия: времена совершенно героические, или совершенно философические редки, если и вовсе не баснословны. Монтескьё сказал, что честь – душа монархического правления; можно прибавить – и почести. Когда обратишь внимание на содержание и краски комедии, о которой идет речь, то удача ее еще замечательнее. Оценка двора сему произведению была бескорыстная. Мы уже заметили, что картина нравов, в ней выставленная, есть картина совершенно чуждая обществу, которому она была представлена. Дело в том, что истина и естественная веселость, и без особенного применения, действуют на чувство. Так, хороший портрет, если и не знаешь подлинника, носит на себе свидетельства сходства своего; так природное дарование и все, что есть задушевного игре великого актера, постигается просвещенным зрителем и незнающим языка, на котором говорит актер; так смеемся часто чуждому смеху, когда он от души, хотя и не знаем причины оногo. Как бы то ни было, счастье ли Фон-Визина, истина ли дарования его, врожденная ли сметливость его слушателей, пробужденная благоприятным направлением тогдашних умов, соединение ли всех сих соображений, – но комедия *Бригадир* имела успех блистательный. К чести сих державных и аристократических судей можно вспомнить, что *Гофолія* не понравилась блестящему двору Людовика XIV, От чего удача Фон-Визина редко была повторяема в последствии? От чего, с легкой руки Екатерины и Фон-Визина, не теснее, не беспрерывнее сблизилась сношения авторов наших с избранными читателями? Кто виноват в охлаждении, которое последовало за таким жарким началом? Авторы, или читатели, или одни события, которые независимо силою своею разрешили успехи литературы от условий некогда необходимого покровительства? С другой стороны, может ли литература наша, как и другие отрасли промышленности народной, обойтись без поощрения, без попечений меценатовских, довольствуясь покровом общих законов, в числе прочих ремесл, искусств и промыслов позволенных? Литература наша имеет ли в себе достаточную силу, чтобы, подобно пароходу, движимому внутренним и независимым действием, плыть беспрепятственно к цели, без пособия попутного, а часто и наперекор противного ветра? Вот задачи, коих решения стало бы на целую книгу и кои по этому самому не подлежат теперь нашему исследованию.

Отныне биограф Фон-Визина лишается, руководства его и, следуя за ним далее, должен довольствоваться редкими, неверными указателями на поприще, им пройденном. Жаль, что автор не успел докончить свои записки и что прекращаются они почти до вступления его в новую сферу – в сферу разнообразнейшей деятельности. Может быть однако ж и самое полное исполнение плана, предначертанного им себе в составлении оных, не удовлетворяло бы совершенно всем требованиям любопытства вашего. Во вступлении своем он говорит, что

разделит *Исповедь* свою на четыре книги: следовательно, судя до двум первым книгам дописанным, едва ли более полуторы книги оставалось ему для повествования о жизни своей в лета, которые, без сомнения, были полнее предыдущих. Но, не смотря на сокращения, на многие изъятия и вообще на какую-то совестливость и целомудрие, свойственные русским писателям, никогда ничего не договаривающим не смотря на все сии недостатки, которые, вероятно, лишили бы записки его многих запасов, драгоценных для истории гражданства, общежития и литературы в России, мы должны, дорожа тем, что есть, жалеть о том, что не было дописано. Мы не имеем средних веков ни в государственном, ни в общежительском бытии. В первом ваша давность не заходит за царствование Петра и во многом начинается от Екатерины. В другом отношении, все еще вчерашнее, все сегодняшнее, а еще более все завтрашнее. Житницы преданий наших пусты, и если надеяться на жатву для наших романов, исторических комедий, биографий лиц и общества, то разве на ту, которая зеленеет еще в глазах ваших. Теперь никак не свяжешь настоящего с прошедшим, упований с преданиями; никак не сведешь концов с концами. Личности так мало отделяются у нас от толпы, все так уравнено, или так изглажено, что мы должны дорожить и малейшими окончностями, которые выдаются наружу. На голой степи и мелкая лоза служит внимательному путнику указательною вехою и отрадою праздному зрению. Признаюсь, большую часть так называемой изящной словесности нашей отдал бы я за несколько томов записок, за несколько Несторских летописей тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает история. Наш язык, может быть, не был бы столь обработан, стих наш столь звучен; но тогда была бы у нас не одна изящная, но за то и голословная, а была бы живая литература фактов, со всеми своими богатыми последствиями.

Глава IV

О сочинениях Фон-Визина, написанных в предыдущем периоде его жизни. — Перевод повести: *Иосиф*, сочинение *Битобе*. — Разбор этого перевода. — Об употреблении Славянских слов в смешении с Русскими. — О недостатках Русского языка того времени. — Пристрастие к Славянскому языку Ломоносова. — О славянизмах Фон-Визина, в переводе повести: *Иосиф*. — Слог Фон-Визина. — Перевод: *Торгующее дворянство, противоположное дворянству военному*

Между литературными трудами, обозначившими период жизни, рассмотренный нами, перевод *Иосифа*, повести сочинения Битобе, заслуживает особенную отметку. Он и ныне еще находится в княжной торговле и перепечатан был в 1819 году. В предисловии переводчик излагает мысли о затруднениях, встретившихся в труде, им совершенном. Любопытно остановиться на них, ибо они касаются до запроса, который много раз решали и который донныне еще не решен. Оно тем более любопытно, что, по каким-то преданиям, Фон-Визин почитается у нас, после Ломоносова, первым писателем, умевшим сочетать языки Славянский и Русский. Новиков сказал о сем переводе, что переводчик держался в нем важности Славянского и чистоты Российского языка. С его слов, все повторили тоже. Во-первых, кажется, должно бы обозначить о каком сочетании идет здесь дело, ибо нельзя же определить, что в русском языке нет важности, или в Славянском чистоты, ему свойственной. Есть сочетание одних слов, и есть сочетание форм, оборотов, свойств двух языков, или даже одного и того же языка, но изменившегося в постепенных своих возрастах. Первое сочетание полезно и даже необходимо. Нет ни единого языка, родившегося во весь рост и во всеоружии, как Минерва из головы Юпитера, Каждый язык разрастался отраслями, листьями и плодами при содействии времени, трудов и прививок. Второе сочетание несбыточно и нежелательно; оно не может быть естественно и, следовательно, не будет изящно. В языках не бывает двуглавых созданий, или сросшихся Сиамцев; и тем лучше; ибо такой язык был бы урод. Первого сочетания держались и держатся все писатели наши, второго не нахожу нигде, ни у Ломоносова, ни у Кострова, ни у самого Петрова, который всех откровеннее поработался Славянскому игу. Говорю: нигде; ибо не признаю за сочетание то, в чем нет согласия. Можно найти во многих писателях наших насильственное и частное сопряжение двух языков, но тогда вспомнишь стихи баснописца:

Диковинка ль всегда в упряжке быть одной,
А розно жить душой.

Прозаический язык Ломоносова — тело, оживленное то Германским, то Латинским духом, коему даны в пособие Славянские слова. Язык Фон-Визина при тех же пособиях часто сбывается на галлицизмы. Ни в том, ни в другом, нет чисто русского, ни чисто Славянского, ни даже чисто Славянорусского языка; если чистота может быть при подобной пестроте.

Один из лучших критиков наших, Мерзляков, восхищался в Ломоносове очаровательным соединением слов Славянских с Российскими. Признаюсь, не постигаю, какое может быть тут очарование. Слова Славянские хороши, когда они нужны и необходимы, когда они заменяют недостаток русских: они даже тогда законны; ибо на нет и суда нет. В языке стихотворном они хороши, как синонимы, как пособия, допускаемые поэтической вольностью и служащие иногда благозвучию стиха, рифме, или стопосложению. Вот и все. Но между тем нельзя не жалеть о том, что какая-то почетная именитость, данная Славянским словам пред русскими, вытеснила многие из них из языка стихотворного, как будто низкие. Теперь

в стихах почти не решишься сказать «лоб, рот, губы», хотя в разговоре, и саном правильном, не скажешь о знакомой красавице: «всего правильнее в ней чело и уста». Вот до чего довело нас очаровательное соединение слов Славянских с Российскими! Язык Славянский имел у нас двух ходатаев за себя – Ломоносова и Карамзина. Поэтическое чувство и музыкальное ухо первого не могли сносить терпеливо нестройность языка, который господствовал между современниками его. Смесь Малороссийских, Польских и Немецких слов дико звучала в тогдашнем книжном наречии. Поэт и оратор, Ломоносов должен был предпочесть ему на первый случай язык священных книг наших и начал проповедовать учение его, которое, впрочем, полезно и необходимо; но притом не должно однако же слепо и исключительно держаться слов его. Повторять за ним безусловно то, что говорил он о пользе Славянских книг – тоже, что ограничиться чтением псалтыри и арифметики Магницкого потому, что он называл их вратами учености своей. Но всегда оставаться в воротах – значит никогда не войти. Карамзин другими, почти противоположными, средствами пробудил старинную тяжбу: он понял, что для размножения читателей должно образовать язык общежития, не допуская существования языка книжного отдельно от первого, доступного только малому числу посвященных в таинства его; он уразумел, что писатели народа образованного, не должны походить на жрецов древнего Египта: им, может статься, была выгода быть загадками для народа, но писателям нет выгоды морочить читателей, имеющих полное право понимать то, что однако же для них пишется. Во всех явлениях физического и нравственного мира есть действие и противодействие. Ломоносов накинулся на Тредьяковского, который противоборствовал, сколько силы было, нововведениям его. Карамзин породил в противоборниках своих опасность за целостность и святость природного языка, угрожаемого вторжением в него нововведений и прихотей общежития. Сия сшибка мнений образует замечательный период в истории нашей литературы. Появление *Истории Государства Российского* прекратило распрю. Оно рассеяло неосновательный страх и объяснило настоящее положение дела. Самые противники Карамзина – говорим об одних добросовестных – убедились, что испытанный талант, знает, каким языком можно писать *Бедную Лизу* и каким должно писать историю.

Впрочем, обращаясь опять в Фон-Визину, спросим: в чем заключаются так называемые славянизмы Фон-Визина в переводе *Иосифа*? В словах «паче, паки» и других им подобных, в сохранении буквы *и* в неокончательных наклонениях глаголов: вот и все. Эти славянизмы напоминают карикатурные лица французских водевилей, которые, подделываясь под итальянцев, пестрят свой французский разговор словами *perchgi, ogiè*, и так далее. В отношении к слогу можно заметить, что, вероятно, от сего перевода Фон-Визин привык в мерной прозе, которая отзывается у него и в других творениях. Подлинник его, Битобе, должен был в этом случае служить ему образцом, ибо и в его прозе встречаются александрийские и обломленные стихи, коими, кажется, любил щеголять и Фон-Визин. В начале повести переводчик говорит: «Свободное слово мое возвышенным стихотворства языком вещати будет». Эти слова, кажется, вставка переводчика: по крайней мере не отыскал я их в подлиннике, напечатанном в полных творениях Битобе. Во всяком случае странен «эпитет свободное», приданный речи прозаической, которую хотят поработить насильственно некоторым условиям стихосложения.

К сей эпохе можно отнести и перевод его «Торгующее дворянство, противоположенное дворянству военному». Книга переведена, вероятно, с немецкого, хотя сочинение и французское. В нем с искусством и силою выведены причины, почему желательно для благосостояния Франции, чтобы одна часть дворянства французского обратилась к торговле, вопреки предрассудкам, осуждавшим членов одного или на пожертвования расточительного честолубия, или на нищету спесивой праздности. Сочинение сие было написано в то время, когда политические и экономические понятия начинали развиваться и обращать на себя внимание, которое овладело после всеми просвещенными и благонамеренными умами. В Фон-

Визине, к его чести, нельзя не заметить того: склонность к поселянству истин сего рода оказывается везде, и в комедиях и мелких шуточных отрывках, и там, где могли бы они казаться неуместными по правилам строгой риторики и исключительной эстетики. Но таков был век: политическая философия, если можно так выразить, была необходимою приправою всякого сочинения. Может быть, некоторые соображения, имеющие отношение и к нашему дворянству, еще более решили выбор переводчика в предпринятом труде. Вот, например, одно из подобных мест: «Но я забываю уже то, что вы в купечество вступили, сами о том не ведая. Торг ваш для того мал, что вам великой противен. Вы торгуете вином и хлебом; но есть ли в том великая разность, чтоб брать товары в собственной своей земле, или покупать оные на продажу? Вообще сказать, кто бы не должен был вступить в купечество? Ципион, Карфагенский разоритель, похвалялся тем, что он никогда не продавал и не покупал. Лучше бы было то, если б он похвалиться мог тем, что не имел участия в неверности Римского сената против Карфагенцев. Купечество есть душа всех сообществ. Оратор продает свое красноречие; писатель дух свой; воин кровь; политик свои намерения. Дворянин, ни в чем оном участия не приемлющий, мог бы продавать плоды наших мануфактур и художеств. Он продает же лен непряженный: для чего не продавать ему пряжи?»

Глава V

О службе Фон-Визина. — Начало его политического поприща со времени поступления под начальство Графа Никиты Ивановича Панина. — Важность тогдашней эпохи, в политическом и дипломатическом отношениях. — Значение Графа Панина в истории Русской дипломатии. — Участие Фон-Визина в делах государственных. — О переписке его с главнейшими современными Русскими дипломатами и другими замечательными лицами. — Значение писем их к Фон-Визину. Отношение его к Графу Н. И. Панину. — Дружба с А. Ил. Бибиковым. — Достоинство Бибикова и успехи его в Польше и против Пугачева. — Письма его из Варшавы и Казани к Фон-Визину. — Як. Ив. Булгаков. — Литературные труды его. — Политическая деятельность. — Письма его к Фон-Визину. — Марков. — Сальдерн. — Письма Маркова. — Ал. Мих. Обресков. — Сношения его с Фон-Визиным. — Гр. Стакельберг. — Письма его. — Гр. Петр Ив. Панин. — Мнение о нем Императрицы Екатерины II. — Сношения с ним Фон-Визина. — Письма Фон-Визина к гр. Панину, заключающие в себе дела внутренней и внешней политики того времени. — Письма Гр. П. И. Павина к Фон-Визину. — Отношения Фон-Визина к князю Потемкину

Если смотреть на чин и почести, до коих дослужился Фон-Визин, то нельзя назвать блестящим служебное поприще его. Впрочем должно заметить, что, за исключением некоторых примеров и особенных случаев, служба в его время, а тем более гражданская, подвигалась медленнее, нежели в следующие эпохи. Тогда государственное заведение было если не менее деятельно, то гораздо малосложнее. С размножением мест должны были возрастать отличия и награждения, а с ними и требования честолюбия. В чинах и в наградах может быть роскошь, также как и в других отраслях общежития. Тогда излишество становится необходимостью. То, что за пятьдесят лет было умеренным благосостоянием и златою посредственностью чиновничества, ныне было бы почитаемо за беспокровное убожество. В этом отношении смиренный по нынешним понятиям жребий статского советника мог казаться довольно удовлетворительным тому, который, находясь в доверенности у начальника своего, кабинет-министра Елагина, писал в 1766 году к отцу своему с некоторым элегическим унынием, что ему надобно сделать себе шинель и что, в течение слишком пяти месяцев, жил он 165 рублями, полученными им в счет жалованья. Между тем он не был в нужде и пользовался некоторыми приятностями общежития: имел карету, услугу, ездил во Дворец. Век на век не приходит; но приятность службы для человека благомыслящего, с видами возвышенного честолюбия, измеряется не годовыми итогами полученных награждений. Занятия, доставляющие пищу деятельности ума, открытая сфера для действий, согласных со склонностями и совестью, отрада, или, лучше сказать, необходимая потребность иметь в начальнике человека, которого уважаешь и которым ты сам уважен, — вот однако же можно почитать счастьем в службе. В этом отношении Фон-Визин счастливо служил. Можно предположить, что без сего счастья он и служить бы не мог. Мы видели, что первые шаги его обратили внимание канцлера графа Воронцова, что при самом вступлении в службу было возложено на него дипломатическое поручение, которое он исполнил с успехом. После поступил он к Елагину под начальство. Если сначала встретили его некоторые неприятности, то в последствии дела имели лучший оборот и место победы осталось за ним. Род занятий его по службе при этом начальнике нам неизвестен: но, судя по званию обер-гофмейстера, которое исправлял Елагин, нельзя предполагать в них особенной занимательности для Фон-Визина. Но знаем из писем его, что он любил и уважал начальника своего.

Политическое поприще Фон-Визина начинается по-настоящему с поступления его под начальство графа Никиты Ивановича Панина, управлявшего министерством внешних дел в эпоху событий, столь важных и блестящих в истории политики нашей. Дела Польши и

Швеции, войны Турецкие, в которых должно было не менее сражаться с оружием в руках против полевых неприятелей, сколько и с пером против кабинетных врагов и Европейской политики, пугавшейся исполинского возрастания нашего; вожди дипломатической конфедерации, гораздо искуснейшей и опаснейшей, нежели Польская, Кауниц и Шуазель, главы Венского и Версальского кабинетов, нам недоброжелательствовавших, и самое дружество Фридриха Великого, напоминающее в дипломатических двуличностях своих стих поэта:

Их дружество, почти на ненависть похоже,

озабочивали важными соображениями и бдительностию всегда настороже воинственный кабинет Панина. «История его негоциаций, говорит Фон-Визин в жизнеописании сего министра, будет в последующие времена служить руководством в делах политических, и представит свету великость души его и дарований». Екатерина, столь проницательно и положительно успевшая судить о достоинствах людей, оказала все уважение, которое питала к уму и нравственному характеру Панина: она вверила ему воспитание Наследника и управление внешними делами государства, возложив на него таким образом, можно сказать, не только жребий настоящей, но и будущей России. Граф Панин, с своей стороны, совершенно оправдал сию высокую доверенность. Россия, в министерство его, не одною физическою силою оружия, но и умственною силою политики, достигла цели, указанной ей Петром; а Царственный Воспитанник Панина, путешествуя по Европе, явился достойным ее просвещения и образованности. Ревностный исполнитель повелений Государыни, сей министр не был однако же пред нею безмолвным и безусловным орудием. Он был мыслящий и самостоятельный министр, умел в делах иметь свое мнение и безбоязненно открывать его Государыне, умевшей выслушивать истину и противоречие. И мнение его в подобных случаях не было плодом каких-нибудь личных выгод или предубеждений в пользу или во вред другой державы, как то часто замечается в истории многих министерств, решавших по тайным пристрастиям судьбы народов и государств в нем оно проистекало из совестного убеждения, почерпавшего силу свою из начал нравственной политики, из общей и частной пользы государства, которые нераздельно сопряжены между собою к поучению властителей и к оправданию Провидения. Напрасно говорит Мирабо о какой-то вражде между нравственностью общею и частною. Нет ни двух нравственностей, ни двух политик. Каждая безнравственность есть не только преступление, но и ошибка. Всякая несправедливость в политике есть такая же безнравственность. Екатерина была столь уверена в пользе заслуг, приносимых графом Паниным Ей и Отечеству, что, не смотря на волнения, свойственные стихии придворной, не смотря на многих могущественных недоброжелателей, покушавшихся низвергнуть его, она всегда отстаивала министра своего и новыми милостями возвышала его более и более. Таков был человек, под начальством коего Фон-Визин имел неоцененное счастье служить, пользуясь неограниченною его доверенностию. По оставшимся после него бумагам, мы не можем заключить, имел ли он какой-нибудь политический голос в советах и решениях министра, но видим достоверно, что все письменные дела переходили чрез его руки и что он был постоянным посредником между им и главнейшими из современных русских дипломатов. Впрочем, если по некоторым указаниям верить, что граф Панин был несколько ленив и медлен в работе, то непосредственное участие Фон-Визина в делах не подлежит никакому сомнению. Переписка его со многими значительными лицами нашей дипломатии убеждает нас еще в другом утешительном свидетельстве: она служит доказательством не только приятного положения, в котором он находился, но и уважения, которое он умел снискать независимо от места своего. В том, что сохранилось из обширной и многолетней переписки его, находим письма в нему Александра Ильича Бибикова, начальствовавшего войсками нашими в Польше против конфедератов; Сальдерна, Барона Ставельберга, министров

наших в Варшаве; Мусина-Пушкина, посла в Лондоне; Зиновьева, в Мадриде; графа И. А. Остермана, министра в Стокгольме; Обрескова, посла в Царьграде; Якова Ивановича Булгакова, Аркадия Ивановича Маркова; княгини Екатерины Романовны Дашковой, родственницы графа Панина; князя Николая Васильевича Репнина, и других. Все сии письма, более или менее, показывают степень доверенности, которая общим мнением приписана была сношениям подчиненного с начальником его, и вместе с нею неограниченную доверенность, полагаемую на прямодушие Фон-Визина, на усердие его к общей и частной пользе. Многие из сих писем служат свидетельствами лестных и почтенных дружеских связей, которые он умел заключить и поддержать. Жаль, что из сей переписки сохранились одни отдельные отрывки. Собрание полуофициальных писем, полученных и писанных им, составило бы любопытный памятник людям и событиям того времени. Странно и прискорбно видеть, как мало дорожили и дорожат у нас поныне следами умственного бытия, с какою младенческою беспечностью предается у нас забвению и тлению все то, что должно бы со тщанием и набожным чувством быть хранимо в архивах семейных! Переписки, сии очевидные деяния, сии, так сказать, снимки с жизни, ее переживающие, всегда драгоценны или в домашнем, или в общественном отношении; еще драгоценнее, когда в обоих. Счастлив, кто в переписке предка находит пищу для семейного любопытства и поучительные примеры для своего гражданского поведения. Почему каждой фамилии не иметь бы частного архива своего? К чему это равнодушное самоотвержение личности, обрекающее лица и самые роды оставаться ничтожными частями целого, неприметными волнами, теряющимися в пучине, которая только в совокупности имеет право на образ, имя и место во внимании людей? И это желание — эгоизм, но по крайней мере облагороженный и согретый святостию воспоминаний и верою надежд, потребностью начать, так сказать, и на земле бессмертие, в которому временная жизнь наша прицепилась бы звеном соединения и залога.

Имея мало фактов, раскрывающих пред нами жизнь Фон-Визина, должны мы дорожить свидетельствами связей его, в которых может отсвечиваться и его характер. Связи сии послужат нам средство, из известных данных, вывести определение неизвестной характеристики. Следуя сему указанию, кажется, не излишним будет обойти круг общежития, в которой Фон-Визин занимал столь почетное место.

Мы уже видели, в каких сношениях был он с графом Никитою Ивановичем Паниным. Сношения сии сблизились при самом начале их знакомства и постоянно укреплялись взаимным уважением и доверенностию до самой кончины министра. В исчислении ближайших приятелей его должно начать с Александра Ильича Бибикова. Это одна из блестящих именитостей царствования Екатерины II, столь богатого отличными людьми на всех поприщах, столь живописного разнообразием и выразительностию лиц, отделяющихся в общей картине. Сей Бибиков, еще в самых молодых летах, успел заслужить военное имя в семилетнюю войну. Возвратясь в Россию, обратил он на себя внимание Екатерины, уже вступившей на престол. Разные важные поручения, истинно государственные должности, на него возложенные, свидетельствуют о доверенности, которую Государыня имела к способностям и душевной твердости его. Избранный в предводители депутатской комиссии, собранной для составления проекта нового уложения, он, можно сказать, увековечил имя свое вместе с памятью мгновения, столь важного в летописях нашего политического гражданства. Если внешние обстоятельства, слившиеся со внутренними препятствиями, и не дали созреть сей великой мысли Законодательницы нашей, то не менее имена призванных Ею участвовать в исполнении свой, и в особенности имя удостоенного доверенностию народа и Государыни, принадлежат истории. После, в важную эпоху для нашей внешней политики, видим мы его в Польше начальствующего русскими войсками против Польских конфедератов. В сей войне, требовавшей от начальника не одного искусства воинского, но и проницательных соображений политика, администратора и, так сказать, проконсула, Бибиков, покоряя непо-

корных не одною силою оружия, но и убеждением силы нравственной, одерживает победы на поле сражений и заслуживает характером своим уважение самых патриотов Польских. Наконец, когда удачи Пугачева начали придавать безумию частного покушения всю важность государственного события, угрожавшего благосостоянию Империя, тот же Бибииков, всегда на примете у Екатерины, избирается Ею для пресечения зла, уже утомившего многие надежды. Приняв начальство над войсками, назначенными действовать против мятежников, он оказал тоже государственное мужество, те же государственные добродетели, которые и прежде содействовали ему в успехах военных. Присутствием своим, благоразумными мерами, неутомимою деятельностью, развитием патриотических чувств, смятых унынием в оцепеневших от ужаса, оживляет он упавший дух губерний, сосредоточивает и направляет силы. Наконец, обстоятельства ему подвластны: он наносит первые и решительные удары мятежу и еще раз вписывает имя свое на скрижалях внимательного и благодарного Отечества. Но здесь пресекается поприще военного в гражданского героя. Завистливая судьба не дает ему в здесь довершить начатый подвиг. На 44 году жизни блестящей, краткой, но богатой делами, смерть, после нескольких дней болезни, настигает его в бедном Татарском селе, вдали семейства и друзей. И возвышенный знак благоволения, посланный ему Екатериною в награду новых заслуг, уже не застав его в живых, обращается ему в одну повесть погребальную. Не на него, а на гроб его, возложена звезда св. Андрея Первозванного. Для довершения изображения его прибавим, что он был друг Суворову, уважен Фридрихом Великим и воспет Державиным. Деятельная и полезная жизнь сего знаменитого человека описана сыном его, в сии биографические записки составляют одну из занимательнейших наших книг. Дружба, связывавшая его с Фон-Визиным, не изменилась до конца. Он и сам несколько занимался русскою словесностию, или по крайней мере переводами. Переписка его с нашим автором свидетельствует, что если он писал и не совсем правильно, то владел языком как человек умный и придавал слогу веселую живость, откровенность и выразительность характера своего. Сообщаем из нее несколько отрывков, жалея, что не можем выдать всего:

«Сын мой (писал он в нему из Варшавы, Июня 6/17 дня, 1772) ко мне доехал и привез между прочим дружеское в приятное ваше, любезный Денис Иванович, письмо, а прямую вашу и непременною дружбу дополнил он словами, пересказав все то, что от вас слышал. Чувств сердечных, как я вами одолжаюсь, описать не могу, ибо и лучшие писатели, имея время и знание, не всегда объясняют их удачно; а мне, в суетах и досадах бывши, есть ли к тому удобность? Оставьте вы и не взыскивайте порядка слога и силы объяснений; довольствуйтесь тем, что я от сердца вас люблю и любить буду. А одолжений чувствует и чувствовать должен брат от брата: и так, в прибавок моей к вам любви, знайте, что чувствую я дружеские ваши одолжения.

Перемирие (с Турками) мы здесь получили: думать надобно, что оно дошло уже теперь и до вас, с тем от сердца поздравляю я, по содержанию договорных пунктов, считаю добрым его быть основанием к желаемому миру, и тем более, что гавани Крымские остались Туркам загражденными. Что русский Бог велик, то видели мы и в наш век не одиножды. Согласен я совершенно с вами в том, что лучшая на Него быть должна и надежда.

Поспешайте, чтоб незрелое созрело. Крайне опасно, в при теплой моей вере на Бога нашего, чтоб не произошло каких-либо новых замешательств. Но пусть будет что хочет; пришло держаться Панглосовой системы: *Tout va au mieux possible!*»

(Из Варшавы, 28 февраля, 1773).

«Вести со всех сторон, не от одних вас, о Турецком мире час от часу хуже становятся. И мы почти ежедневно ожидаем подлинного о Бухарестском Конгрессе разрыве известия; но по сие время однакож его нет. По обстоятельствам, чудесам быть надобно, коль, вместо ожидаемой войны, услышим мы вести о вожделенном мире. Да творит Бог волю свою! Пока руки есть, драться станем. Хотя впрочем и то истина, что православной Руси не худо бы и отдохнуть: черпаем ею во многие поливники. На долго ли то станет? Конечно, надобно Шведов укачивать, доколе с Турками не помиримся. А ежели и их французы подобьют, то кажется не в моготу, Святительские..... Слышно, что и у самих друзей наших глаз ведет от плаванья на Средиземном море. О себе, мой друг, я уже не говорю. Пусть там буду, где судьбе угодно: только к вам не хочу. О вас, я здесь живу, слышать неприятно. Долго ли пиву бродить, пора устать. Лестны для меня отзывы его сиятельства графа Н[икиты] Иван[овича Панина] о которых вы пишете. Я истинно его душевно и сам почитаю. Поздненько вы в нам прислали план будущих внешних дел. Вряд успеют ли три патриарха к собору сделать свои приготовления. А другу нашему Ф[едору] Ф[едоровичу] (Фридриху Великому)], то и надобно, чтоб помутил Бог мир и накормил Бог воеводу. Прости».

(Из Варшавы, Марта 23, 1773.)

«Здесь сеймики иные развили, а иные сконопатили, и по известиям столько уже их есть, что сейм отделить можно. Но чем все это кончится, по гадательной книжке не угадаешь. А Гренадский епископ (бискуп Краковский) много пакостит. Штапельберг думает вести его исправнее, нежели Жилбаз; во вряд будет ли успех. Ничто так на Жилбазова епископа не похоже, как сей святитель. Только тот помешался на сказаниях, а сей на тщеславии. Он говорит к стати к не к стати: Car je suis prince évêque de Cracovie et duc de Séverie et mon chancelier, и тому подобное.»

(Из Вартавы, Апреля 26, 1773.)

«Здесь дела пошли, только все с угрозами и насилием. Сила и солону ломит, как пословица говорят. Только прочно ли? о сем настоит вопрос. Подлинно порадовался, что адский изверг демаскирован, и честный и препотенный человек вышел из заблуждения; только о том жалею, что поздно. Успел этот злоехидный адвокат многим своими вознями сделать вред. Я знаю это по себе; да быть так! что пролито, того не подхватишь.

Мир наш подлинно к черту. Жаль, что вы конгрессами дали себя провести, и от угара, наведенного Туркам, оправиться. Ведь война имеет свои обороты. Сохрани Боже от неудачи, то-то будет дурно. Пора, пора мириться, и друзьям нашим толконничкам посерьезнее поговорить. Нигде они добротством своим так не приметны, как здесь. Дивлюсь, что вам не видны. Сие все однако же между нами».

(Варшава, Августа 7, 1763.)

«Командирование мое в армию с полками вам не может быть неизвестно. Не знаю, к худу ли это, или к добру. Только я, следуя моей судьбине, еду туда без всякого огорчения и покидаю с охотою прескучную и разорительную для кармана Польшу, в которой много я положил труда и здоровья без всякого по ремеслу и званию блеска. По счастью ли моему, или

подлинно от старания, войска получили другой вид, и в том сам себе отдаю справедливость, с засвидетельствованием всей Польши, что они порядком и изрядством своим стыда нам не сделают; а что грабежи увидясь, и они скромнее Пруссаков и Австрийцев, о том вся Польша свидетель. Уповаю, дошло и до вас засвидетельствование, сделанное канцлером великим в письме к барону Штакельбергу. Конфедераты, в мое время, нигде ни малейшим образом авантажа не имели: везде побиты, даже до исчезания совершенного. За все за это, мой друг Денис Иванович, хотя бы комплимент при конце сказали, отправляя на другую службу. Скажут, может быть, что я произведен: правда, но произведен тогда, когда и моложе меня в те же чины вступили. А обойти меня без прослуги, кажется, было не за что. Огорчительно и преогорчительно видеть, что пряная служба не производит на себя и внимания. Пусть хотя то бы в мерит поставили, что я не нажился, как Древиц и ему подобные, да нажил долгу двадцать тысяч рублей, за который теперь рискую потерять все, что имею. Ты, мой друг, читая это, подумаешь, на что де он ко мне пишет? ведь я помочь не могу. Но облегчительно и то, когда можно, как говорится, сдать с души другу то, что нас угнетает. Ежели отпустят меня (паче чаяния), то буду я самолично тебя благодарить за все твои дружеские мне в бытность здесь одолжения.

Прими, мой друг, здесь мою искреннюю благодарность как чистейшую жертву, от нелицемерной дружбы приносимую, и будь уверен, что я, доколе жив, остаюсь твой верный и истинный слуга».

(Из Казани 26 Января, 1774).

«Благодарю тебя, мой любезный Денис Иванович, за дружеское и приятнейшее письмо от 16 Января и за все сделанные вами уведомления. Лестно слышать полагаемую от всех на меня надежду в успехе моего нынешнего дела. Отвечаю за себя, что употреблю все способы и забочусь ежечасно, чтоб успеть истребить на толиком пространстве разлившийся дух мятежа и бунта. Бить мы везде начали злодеев, да только сей саранчи умножилось до невероятного числа. Побить их я не отчаиваюсь, да успокоить почти всеобщего черни волнования великие предстоят трудности. Более же всего неудобным делает то великая обширность сего зла. Но буди воля Господня! Делаю и буду делать что могу. Не ужели то проклятая сволочь не образумится? Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование; а Пугачев – чучела, которою воры Яицкие казаки играют. Все сие между нами, и письмо прочет предай огню. – Уведомляй, мой друг, сколь можно часто, о делах внешних. Не ужели то мы и теперь о мире не думаем? Эй, пора! право, пора! Газеты я получил; надеюсь, что по твоей дружбе и вперед получать буду. J'avais diaboliquement peur de mes soldats qu'ils ne fassent pas comme ceux de garnison: de mettre les armes bas vis à-vis des rebelles. Mais non, ils les battent comme il faut et les traitent en rebelles. Ceci me donne du courage (Я дьявольски боялся, чтобы солдаты мои не поступили подобно гарнизонным и не положили оружия пред мятежниками. Но нет, они бьют их порядком и обходятся с ними как с мятежниками. Это придает мне бодрости). Да та беда, как нарочно все противу нас: и снега, и метели, и бездорожица. Да, но все однако же одолевать будем, Прости, мой друг; будь уверен, что я тебя сердцем и душою люблю.

Намекни, мой друг, графу Никите Ивановичу о бароне Аше: он обещался ему по крайней мере хотя для сейма что ни есть исходатайствовать. Ты меня очень одолжишь, ежели сему честному человеку поможешь».

Сии выписки кажутся нам весьма замечательными и по общим отношениям и по частным, лично касающимися до Фон-Визина. В сих отдельных чертах живо изображается Биби-ков: как общественный человек, он ревностный исполнитель возлагаемых на него должностей, на деле верноподданный, готовый не щадит ни трудов, ни крови своей, *драться пока*

велят и пока руки есть; как частный человек, он с свойственными русскому уму, и особенно же той эпохе, ясною логикою и некоторою склонностью к порицанию, всегда умоляющему пред голосом обязанности и призыванием власти на новые труды и новые опасности. Сей характер благородный, истинно русский, должен был иметь сочувствие в характере Фон-Визина: ибо нет дружества без сочувствия.

Сюда принадлежит также имя Якова Ивановича Булгакова, известного в истории дипломатики и словесности вашей. Нельзя без уважения обратить внимания на литературные труды его, служившие ему деятельным отдохновением от разнообразных и, по важности политических событий, весьма многосложных государственных занятий. При обширности официального письмоводства, успел он еще выдать до тридцати томов переводов своих. Такой подвиг может показаться сверхъестественным в ваше время, которое будто сократило сутки половиною: так много торопимся мы, и так мало успеваем! Не говоря уже о людях, занятых государственными должностями, сколько и между присяжными писателями найдется таких, которых бы стало на тридцать томов даже и переводов? Жаль, что пример Булгакова имел мало последователей; а еще достойнее сожаления, что немногие были бы и способны последовать ему. Правда и то, что султан Ахмет много способствовал ученым досугам его, заключив его, пред начатием войны в 1787 году, в Семибашенный Замок, в коем просидел он 27 месяцев. В сем заточении перевел он огромное сочинение аббата дела Порты *Всемирный путешественник*, состоящее в 27 томах, – по одному тому на месяц. Впрочем, занятия его в тюрьме были не одни литературные, но и политические. Не смотря на строгость надзора за ним, он находил способ переписываться с Императрицею, с князем Потемкиным и графом Безбородкою. Сохранив все свои сношения с преданными ему людьми в Константинополе, Булгаков, из тюрьмы своей, нередко сообщал князю Потемкину, стоявшему пред Очаковым, любопытные сведения о тайных предположениях верховного визиря. Рассказывают, что, при назначении своем посланником в Царьград, пришел он к Фон-Визину и спрашивал о содержании готовимой ему инструкции. «Вот в чем вся инструкция», отвечал ему, смеясь, Фон-Визин:

«У нас детей пугают Турками: должно это переменить и сделать так, чтобы вперед сам Султан в Царьграде дрожал имени русского; а прочее, при помощи Божией и ваших стараниях, придет уже само собою». Письма его в Фон-Визину отличаются веселою и остроумною шутливостию. По малым отрывкам, дошедшим до нас, можно заключить, что переписка их была очень откровенна и несколько настроена на лад философического XVIII века.

«Будьте уверены (писал Булгаков из Варшавы, от 12/23 января 1771), что все мое старание обращаю заслужить вашу доверенность и вселить в вас мнение, что и в глуши есть люди, кои умеют отдавать справедливость имеющим достоинства; если ж мне того не удастся, то я во весь голос, которого однако у меня от частого кашля очень мало, закричу с Сумароковым: *Бодливому быку судьба не ставит роги!*».

«Комиссию, на меня наложенную, я, коль скоро можно будет, исполню и уже бы исполнил, если бы от меня зависело. Но Варшава теперь походит на пустой овин большого села, в котором была ярмарка и где поп пьян, а прихожане еще не охмелились, в следовательно в котором, кроме сорок и филинов, ничего нет. Отсюда даже до делателей зубочисток все разбежались, а по пресечении коммуникаций от защитников веры и вольности, кои церкви грабят, а проезжих вешают, ни откуда ничего сюда не везут. Однакож, хоть сам научусь делать, но с первым курьером зубочистки пришлю».

В письме от 26 июня 1773, также из Варшавы, на которое должно служить ответом, напечатанное во втором томе полного собрания сочинений Фон-Визина, от 13 сентября того же года, говорит он между прочим: «Если б в первом случае, который дал мне познать доброе ваше сердце и почувствовать плоды вашего обо мне попечения, отказали вы мне помощь вашу, я бы меньше, признаюсь, вас любил, но оставил бы в покое и тишине пользоваться

всем хорошим в вашем месте, не требуя, чтобы вы уделили и на нас, бедных, света лучей, изливаемых на вас от солнца.

После сего предисловия (которых я, не умея льстить, сочинять не мастер), позвольте мне поблагодарить вас...» и проч.

«Есть еще здесь человек, всякой чести достойный, и обещает вам первую вакансию на лоне Авраамле, если вы с ним покажете милость, показанную его собратиям, Вы догадаться можете, что я хочу говорить о попе посольства. Сей слуга Божий и посольства духовник имел вдохновение, что его товарищам жалованье прибавлено, а он обойден. Приходит мне теперь до себя: но какой имею я мотив для побуждения вас за меня молебствовать? У Бога я не поп; у Царя вы сами ближе: а без них двух волос с головы не сгинет. И так, остается мне только доброе ваше сердце: не созижду я на нем как на камне церкви, но основать могу госпиталь, где на старости кости мои (ибо в теле у меня и теперь уже недостаток) будут величать ваше имя».

В письмах автора нашего к Булгакову, напечатанных во втором томе сочинений его, упоминается о неприятности, постигшей Маркова в Варшаве. Молодой Марков, коего имя облеклось после блестящею известностью на дипломатическом поприще, находился тогда под начальством Сальдерна, министра нашего при Польском дворе. Сей Сальдерн, пользовавшийся несколько времени большою доверенностью в уме графа Панина, был человек нрава запальчивого, высокомерия нестерпимого и мнительности неограниченной. Таковы свидетельства о нем, между прочим, Бибикова и Фридриха Великого. Сей последний в записках своих изображает его в виде человека необходимого, без гибкости в уме, в хотевшего, в переговорах своих с ним в Берлине, принять на себя осанку *Римского диктатора*. Не мудрено, что и молодой, пылкий Марков не мог поладить с диктатором, который, вероятно, щадил его еще менее, нежели Фридриха Великого. Сальдерн требовал от подчиненных своих совершенного отшельничества и отчуждения от Польского общества. Подобное требование, кажется, и несогласно с целию, которую должен иметь в виду дипломатический министр: успехи мирных завоеваний его основаны отчасти на личных отношениях общечеловеческих. Марков не строго покорялся затворничеству, предписанному дипломатическим игуменом. По отъезде князя Г., приятель и поверенный сердечных тайн его, он согласился быть посредником переписки отсутствующего с одною из Варшавских красавиц. Одно из этих писем попало в руки министра. Гнев его выступил *т* границ. Он поразил Маркова оскорбительными выражениями. (*Flétri et déshonoré*, писал он министру, *par les épithètes diffamantes de sot et de misérable dont Votre Excellence m'a qualifié, je me regarde incapable désormais d'être employé au service de ma Souveraine*). Не довольствуясь оскорблениями словесными, он стал держать Маркова в заключении (*La perte de ma Uberty*, писал Марков Фон-Визину, *est le moindre malheur que je prévois: celui d'une mauvaise chère me paraît inévitable. Ainsi, mon ami, conjurez Mr. de Panin que je ne dise pas comme Jo:*

Aux fureurs de Junon Jupiter m'abandonne).

Общие усилия Булгакова, Бибикова и в особенности Фон-Визина победили в графе Панине благоприятное предубеждение в пользу Сальдерна: правота Маркова была признана. «Поступок графа Панина (писал он к Фон-Визину) достоин его и превосходит все, чего я ожидал от благородства и правоты души его». — «Прощайте, мой нежный друг (говорит он в конце того же письма). Надеюсь скоро обнять вас. Горю нетерпением уверить вас в моей благодарности я излить мое сердце в вате». Марков писал к Фон-Визину на французском языке. Колкость выражений его, сатирический пыл пробивались уже и тогда, на малой сцене, и предсказывали резкость и язвительность, которые сделались отличительными свойствами ума его на обширнейшем театре. Живое ходатайство Фон-Визина в этом случае тем более

приносит ему чести, что, забывая о выгодах своих, он отстаивал приятеля от нападений человека сильного в уме и в доверенности у общего их начальника.

Алексей Михайлович Обрезков, коего имя сопряжено с историею политических сношений наших с Турциею, а заточение в Семибашенном Замке было столь прискорбно Екатерине, находится в числе лиц, оказывавших Фон-Визину приязнь и уважение. Ему поверял он огорчение свое при виде неудачи Бухарестских переговоров. «Душевно стражду (писал он ему с конгресса, от 13 марта 1773), видя все мои труды в пепел обращающимися; а с другой стороны бодрствую духом, в надежде на Него (на Бога) полагаемой и чистою совестью в сделании всего в силах моих быть могущаго». В другом письме писал он ему: «Государь мой и дознанный друг, Денис Иванович! Прямо дружеское ваше письмо я получил с равным удовольствием имеющемуся к вам, моему государю, дружелюбию я нелицемерному почтению. При сем прошу вложенное здесь к общему нашему благодетелю верно доставить. Братца вашего рекомендовать вам было не для чего: он сам себя рекомендует. Прошу же, государь мой, когда праздное время излучите, посетить моих детей, дать им хорошие наставления к учению и поведению, да и учителя их, г. Ольрия, побуждать ко всевозможному их обучению».

Стакельберг, преемник Сальдерна в Варшаве, и сам игравший важную роль в делах наших с Польшею, известен был умом своим и острыми словами, из коих иные и теперь еще хранятся в памяти. Он называл Варшавские улицы неразрывною цепью *желтых домов*. Однажды, жалуясь на худой желудок, расстроенный вероятно прихотливостью его в застольных наслаждениях, сказал он забавно: «*Si je pouvais trouver quelque canaille qui digérât pour moi*». Французские письма его к Фон-Визину исполнены приязни и доверенности. «Что сказать вам (писал он ему из Варшавы, от 4/15 сентября 1772) о первых взглядах моих, кинутых на Польшу? Ни слова. Оно лучше, потому что осторожный человек не должен спешить в приговорах своих. Все, что я успел проведать, есть всячина противоречий, личных озлоблений, под покровом государственной пользы. Таковы люди. Дай Боже мне в Польше иметь бы дело с одними Поляками: я был бы менее жалок. Но должно будет противоборствовать препятствиям, чуждым моему делу. Отгадывайте сами. Со временем объяснюсь пространнее. Изведав душу вашу, мой любезный Фон-Визин, я ни минуты не сомневаюсь в искренности ваших дружеских уверений и в действительности оных. Я не полагаю вас способным к двуличности...» и проч.

В другом письме, писанном в ноябре месяце 1772 года, между прочим, говорит он: «Ваше письмо еще порадовало меня, на исключение того, однако же сказано в нем приятного непосредственно для меня. Все пришло в порядок, и вот кредит честного и правдивого человека, любимого нами, утвержденный, как я того и надеялся. Продолжайте быть ему искренно преданным, как были доньше. Он оценит это. Не напоминайте ему никогда обо мне в этой бездне дел, коими заваливают его, потому что он один с душою и головою; но напоминайте ему о делах здешних, которые важнее, нежели кажутся. Глава Европы обращены на них. Польша навлекла нам войну. Мы имеем особое побуждение (сверх общего) хорошо кончить. Окончательное введение во владение ничего не значит; но надобно доделать остальное, о котором два другие мало заботятся. Удовлетворив жадности своей, они уйдут, а мы останемся еще со всеми передрыгами на руках. В этом отношении, а не касательно первого дела, нужны мне светлые наставления и советы моего достойного и почтенного начальника. Вы пользуетесь доверенностью его, и я поручаю вам сообщать мне отдельно, однако же ваши мудрые беседы с ним откроют вам по сему предмету.

Однако же сказать вам о себе, мой любезный Фон-Визин? Я недоволен. Это останется между нами, и вверяю тайну дружбе вашей. Если самому не чувствовать бы своего маленького достоинства, то от других стал бы его чувствовать, особенно же достоинство сердца и чувства в сравнении со многими, кои его не имеют. Мне сорок лет: детей у меня много, много

труда в виду, и в конце всего орден Святые Анны в награду будущую, который носят здесь и прочие. Люди, способные к труду и заслужившие общественное уважение, но щекотливости своей в честности, не могут входить в совместничество об отличиях с пресмыкающимися тунеядцами и глупцами. – Живу с Бибиковым как с братом. Это честнейшая душа, за то и он, подобно мне, кончит тем, что умрет с голоду. Я доволен своим жалованьем. В доне моем много порядка в великолепия, и я не дотрогиваюсь до капитала, который мне остается. Простите, любезный друг! Покажите письмо мое одному Марвову: он его одобрит».

Группировав в картине нашей эти разнообразные лица и отметив их по возможности чертами, собственно им принадлежавшими, мы, кажется, успели пояснить и лицо, особенно внимание ваше привлекающее. Посреди их мы указали место, которое в свое время занимал и Фон-Визин. Мы видим его приятелей умных современников; с другой стороны видим его, так сказать, проводником, к которому примыкали все второстепенные, содействующие в предварительные сношения многосложных пружин с главным побудителем политического движения. Внутренние, закулисные действия открывают пытливому взору тайное производство, часто столь прискорбно противоречащее наружному благолепию, выводимому зрителям на показ. Переписка чиновника, в доверенности у могущего министра, есть верный и многозначительный оселок: это маленький опыт, предисловие к страшному суду, на котором должны обнаружиться все тайные дела и сокровенные помышления. Можем сказать решительно, но исследования всех актов, перебивавших в руках наших, что Фон-Визин выходит совершенно чист из сего опасного испытания. Но, для полноты картины, не должны мы забыть о лице, коего постоянные и вовсе бескорыстные сношения с Фон-Визиным проливают на него новый свет, самый благоприятный, самый выгодный для его нравственного характера. Доселе видели мы одних сослуживцев его, связанных с ним дружбою, доверенностью, уважением и обстоятельствами, которые заставляли их дорожить дружеским его к ним расположением. Приязненные же сношения его с графом Петром Ивановичем Паниным, братом министра, могли бы и одни служить ему несомненным одобрительным свидетельством. Герой Бендер, довершитель подвига, начатого приятелем его Бибиковым в сокрушении Пугачевского мятежа, был человек ума твердого, строгой чести и характера непреклонного. Честолюбивый, но честолюбия не столь гибкого, не столь обделанного людьми и событиями, сколь честолюбие брата его, который возмужал и состарелся действующим лицом на сцене страстей политики и Двора, он не мог удержаться на пути состязаний и почестей, Императрица отзывалась о нем с уважением, хотя и не имела к нему особенного благоволения. «Вы знаете, что я не была большая охотница до Петра Панина, говорила она однажды графу Строгонову, но должна отдать справедливость уму и характеру его. Вот один случай, в который успела я узнать его. Я привезла в сенат проект указа. По прочтении одного, все сенаторы единогласно одобрили его: один Панин, потупя глаза, хранил молчание. Я спросила о мнении его. С твердостью и глубоким исследованием, начал он представлять мне все неудобства и невыгоды его. Я убедилась его мнением и должна была согласиться с ним. Проект был отменен». Передавший мне этот анекдот прибавил, что сенатские предания и сенатские старожилы сохраняют с уважением особенно память трех сенаторов: графа Петра Ивановича Панина, Александра Романовича Воронцова и Чичерина. Вызванный из бездействия на государственный подвиг, избавив Екатерину и Россию от бедствия, которое, после смерти Бибикова, начало свирепствовать с большею силою, граф Панин снова сошел с поприща и возвратился в свое уединение. Но любовь к России, но живое соучастие в делах ее и делах Европы, не хладели в сердце его и во дни мирного отдохновения. Фон-Визин был с ним в переписке непрерывной, извещал его о всех происшествиях, достойных внимания, сообщал ему (без сомнения, с ведома министра) списки со всех любопытных депешей, министерских бумаг, внутренних и внешних, часто спрашивал мнения его по делам, в них изложенным, для передачи брату. Жаль, если переписка сия не сохранилась в целости.

В бумагах Фон-Визина нашли мы только несколько черновых писем его и ответов к нему графа Папина. Судя по образчикам, сии ответы весьма замечательны. Они могли бы служить рецензиями на современные явления. Граф Пантин показывается в них Катон-цензором. Слог его замечательно тяжел, выражения часто темны: но из этого кремня высекаются мысли светлые и чувства всегда благородные. Из следующих отрывков можно будет заключить вообще о свойстве сей переписки и степени ее занимательности.

Письма Фон-Визина.

С.-Петербург, 4-го Января 1772.

Во исполнение вчерашнего моего обещание, имею честь послать к вам, милостивый государь, два рескрипта о перемирии: один к графу Петру Александровичу (Румянцову-Задунайскому), а другой – к графу Алексею Григорьевичу (Орлову-Чесменскому).

Милостивое письмо вашего сиятельства, изъявляющее при обновлении года желание ваше о моем благосостоянии, тем более трогает сердце мое, что и я настоящим моим счастьем одолжен вашему покровительству. Верьте, м. г., что нет на свете ничего такого, чему бы не пожелал я доказать вашему сиятельству я истинную мою благодарность, и сердечное усердие к особе вашей.

Рассуждение вашего сиятельства о толкованиях публики, судящей по обманчивой наружности, сказывал я его сиятельству графу, братцу вашему. Радуюсь, что мое о том мнение почел он справедливым, и для того осмелюсь я здесь сказать оное. Публика редко или и никогда не отдает справедливости живым людям. Потомству предоставлено разбирать и утверждать славу мужей великих; оно одно беспристрастно судить может: ибо никакая корысть не соединяет тогда судью с подсудимым. Достойный человек не должен огорчаться тем, что льстецы при нем, отъемля его цену, придают ее своему идолу. Такие льстецы сколь иногда ни заражают своими подлыми и ложными внушениями публику; но она, рано или поздно, отдает справедливость достойному, разобрав лесть и клевету от самой истины. Впрочем, милостивый государь, извольте поверить, что наш *** столь открыт, что никто, конечно, душе своей не помыслит, чтоб он даровал России спасение и мир премудростию своею.

О г-не Ассбургска спрашивал я нарочно его сиятельство графа, братца вашего. Он изволил сказать, что нет никакого еще назначения для сего министра, а принят он в службу как человек великих достоинств и способный на всякое большое дело.

С.-Петербург, 20 Января 1772.

С сердечною благодарностию имел я честь получить милостивое письмо вашего сиятельства от 12 Января. Откровенность, с которою вы изъяснялись со мною изволите по содержанию одного письма, делает мне особливую честь, побуждая меня изобразить здесь мысли мои, родившиеся от собственных рассуждений вашего сиятельства. Правда, м. г., что великий человек стараться должен не допускать славу свою похищать другими; но если льстецы и предадут иногда потомкам людскую славу, то нельзя же и от потомства отнять той справедливости, чтобы не распознавало оно истины от лжи. О потомках наших должны мы судить по себе самим.

Сколько же древних историков, а в особенности стихотворцев, презрены нами для того только, что мы подозреваем их или в лести, или в злобе! Для сего первое старание читателя истории состоит в том, чтобы тотчас узнать жизнь автору, и тогда уже судить, достойна ли веры его история. Один добрый и справедливый историк задавляет тысячи подлых писателей, которые, конечно, бесчестят и себя, и своих героев. Все те большие люди, коих история писана во время их жизни, должны твердо верить, что не по тем описаниям судить об них будут, которые они читали сами, а по тем, которые по смерти их свет увидит. Тогда-то зависть умолкнет, лесть исчезнет и все пристрастия, подобно грубому илу, упадут нечувствительно на дно, а истина одна всплывет наверх.

С.-Петербург, 26 Января, 1772.

Новое и великое явление открылось для Дании сего месяца 6 (17) числа. Королева, фаворит ее Струэнзе и множество других особ арестованы. Она отвезена в Кроненбургскую крепость, а прочие в Копенгагенской содержатся под строжайшим караулом. А каким образом происходило сие приключение, о том имею честь для вашего сиятельства включить здесь выписку из письма вашего поверенного там в делах, г. Местмахера. К сему остается прибавить только то, что на графа Ранцау, как на производителя дела сего, надет орден Белого Слона, и что у Струэнзе нашли 800.000, у графа же Бранта 300.000 Датских талеров или наших рублей.

Можно сказать, м. г., что история нашего века будет интересна для потомков. Сколько великих перемен! Сколько странных приключений! Сей век есть прямое поучение царям и подданным.

С.-Петербург, 31 Января 1772.

Пребывающий здесь Прусский министр получил от короля, своего государя, депешу, из коей выписку здесь в переводе приложить честь имею. Ваше сиятельство изволите усмотреть из оной, что отторжение Крыма подвержено великому затруднению; но мы уже далеко вошли в сие дело, и я не чаю, чтоб наш Двор согласился бросить предпринятое толь твердо намерение в рассуждении Татарской независимости. По крайней мере до сего часа не взираем мы ни на советы Венского двора, ни на упорство явного неприятеля нашего, который, как видно, всю свою надежду на Австрийцев полагает. Правда, м. г., что по всему судя, кажется, нельзя миновать новой войны: ибо с одной стороны нет сомнения, что Венский Двор не престанет делать преграды нашему с Турками примирению, а с другой стороны видим, что король Прусский воевать уже решился. Продолжение войны нам тягостно; но не легко будет и Цесарцам, когда друг наш с ними разделяться будет.

Датские дела становятся ныне особливового внимания достойны. В надежде, что известия об оных вашему сиятельству угодны будут, принял я намерение пересылать к вам, м. г., копии со всех Датских депешей, как здесь получаемых, так и отсюда отправляемых.

С.-Петербург, 7 Февраля 1772.

Не могу довольно изъяснить, с какою радостью отправляю я здесь к вашему сиятельству все обещанное хною на прошедшей почте. Вы, м. г., увидите тут истинное торжество братца вашего. Вдруг положение всех дел

прияло для нас новый, славный и полезный оборот: неукротимый Венский двор, почитавший до сего дня все наши резоны недостойными своего внимание, приемлет их же за доказательства геометрические, почитает кондиции ваши справедливыми и признает систему нашу нейтральною. Все сие есть действие душевной твердости братца вашего, которому отечество наше одолжено будет миром, возводящим его на верх славы и блаженства.

С.-Петербург, Марта 6 1772.

Можно сказать, что князь Кауниц во все нынешнее дело распорядил меры свои так неудачно, возненавидел нас и возгордился столь безрезонно, переменял свою систему так скоропостижно, что чрез все сие заслуживает он лишиться *этимы* всего разумного света. Гордость злобная всегда нестерпима; но гордость, переменявшаяся вдруг в смиренную низость, достойна посмеяния и презрения!

Прибывший вчера из Берлина к графу Сольмсу курьер привез от короля весьма любопытные пиесы, в коих его Прусское величество, своим манером, отдает вею справедливость странному поведению князя Кауница. Жалею, м. г., что на сей почте не успеваю сих бумаг послать к вашему сиятельству, но на будущей стараться буду оное исполнить.

С.-Петербург, 20 Марта 1772.

Нельзя лучше изобразить характера князя Кауница, как ваше сиятельство его представляете; но при всем том, положи за правило, что всякий и совести не имеющий человек остается тогда при своих обязательствах, когда в том находит свой интерес, нельзя усомниться, чтобы Кауниц не прямодушно вступал теперь с нами в общее дело. Все конечно, м. г., трактуя с таким человеком, не надлежит выпускать из глаз осторожности, но она и наблюдается по только человечески возможно.

С.-Петербург, 17 Апреля 1772.

Ожидаемый столь долго из Вены курьер наконец сюда приехал. Князь Кауниц сообщил здешнему Двору, однако же берет на свою долю его государь. Я не могу всех депешей сообщить теперь вашему сиятельству, затем что они еще мне не отданы; но, читая их, я нарочно выписал для вашего сиятельства то, что составляет существо сих депешей. Вот, м. г., что Венской Двор себе *откроить* хочет: «Часть Краковского воеводства по правую сторону Вислы, от Биала вдоль по сей реке до Сандомира, а оттуда вперед до супротив Зволена по реке Вепрже; оттуда до Баркова в угол, где соединяются границы воеводств Люблинского, Красно-Русского и Брестского, и где впадает в сию реку рукав другой реки, начинающейся на границе воеводства Брестского, до сего последнего воеводства и Великой Литвы. Оттуда вдоль по границе воеводства Брестского, или Великой Литвы, и между воеводством Бельцким и Волзиским, так чтоб целое воеводство Бельцкое включено было в новую границу. Потом вдоль Волынской границы до Подолии, и вдоль границы сего воеводства до Днестра и по ту сторону сей реки, вниз по ней, до Молдавии. Наконец вдоль границы Молдавской до Трансильвании и взаимно до Венгрии, или до уездов *Мармора* и *Радны*, так чтоб все сие присвоение граничило левым крылом до Силезии, а правым до Трансильванской границы».

Ваше сиятельство по карте усмотреть изволите, что Венская доля, по своему пространству, велика, но князь Кауниц в резон тому поставляет, что наша и Прусская доля имеют такие политические выгоды, каких Венская не имеет. Для того, чтоб во всех наблюсти равенство, Венской Двор хочет наградить себя пространством земли за то, в чем наши части изобилуют по видам политическим. Ваше сиятельство сделаете мне особливую милость, если удостоите меня узнать ваше мнение о сем распоряжении. Я же, с моей стороны, осмелюсь донести вам мою об оном мысль: мне кажется, что хотя требование Венское и великовато, но с некоторыми *малыми исключениями*, можно вам на оное согласиться; *ибо за сию цену купим мы* прекращение большой войны, нас изнуряющей, *купим прекращение* Польских мятежей, которые отвлекают наше внимание от других дел и причиняют нам лишние хлопоты и непрестанную заботу. Сверх же того, участвуя в разделе Польши, мы достанем из нее себе долю довольно выгодную. Очень бы жаль было, если б за несколько миль разрезаемой *Польской земли* завязались новые раздоры, или, избави Бог, и новая война!

Граф Петр Александрович пишет, что он с визирем уже согласился послать Журжево комиссаров для перемирия, и что г. Симолин туда отъезжает.

С.-Петербург, 29 Мая 1772.

Принужден будучи пропустить прошедшую почту, за преемствою головною болезнию, продолжавшеюся чрез шесть дней, я исполняю теперь приятный долг мой, принося нижайшее благодарение за два милостивые письма вашего сиятельства от 19-го и 23-го числ нынешнего месяца; а как за недосугами моими не успел я до сего писать к вам, м. г., и на прежнее письмо ваше от 16-го, то ныне имею честь на все три ответить вашему сиятельству с таким совершенным чистосердечием, какою откровенностию вы меня удостоивать изволите.

Уведомление о любезном сыне вашем почитаю я новым знаком вашей ко мне милости. Нельзя искреннее моего желать, чтоб здоровье его пришло совсем в безопасное состояние, в утешению и спокойствию вашему.

Удовольствие ваше, м. г., о рачении моем исполнять вашу волю есть истинная награда моему сердечному к вам усердию. Мне приятно упражнение в сообщении дел вашему сиятельству, и я с радостию продолжать оное буду до тех пор, пока при делах останусь.

Патриотические о мире рассуждения ваши, м. г., конечно не найдут противоречий ни от кого из истинных граждан. Ваше сиятельство столько имеете причин радоваться тому, что все уже устроено к трактованию о мире, сколько беспокоиться о том, чтоб сие устроение не разрушилось от того, кто посылается исполнителем. Правда, что мудрено сообразить потребный для посла характер с характером того, кто послом назван; но не ужели Бог столько немилосерд к своему созданию, чтоб от одной взбалмошной головы проливалась еще кровь человеческая.

Петергоф, 26-го Июня 1772 г.

Главнуправляющий в Архипелаге нашими силами рассудил за благо публиковать манифест, который ваше сиятельство изволите найти в приложенных при сем Гамбургских газетах. Противу военных прав, принятых всею Европою, почитает он между запрещенными товарами и

съестные припасы. Сие самое взволновало все Европейские державы, а особливо не жалующую нас Францию. Первая она принесла ныне жалобы Двору нашему на такое запрещение. Чем бы дело сие ни кончилось, но и то сказать надобно, что если флот наш не будет неприятеля мучить голодом, не пуская к нему съестных припасов, то ему в Архипелаге и делать будет нечего; ибо атаковать силою неприятеля он отнюдь не в состоянии. Напротив того, не пропуская нейтральных держав судов с хлебом, должно поссориться с ними, а может быть и подраться, в котором случае бой для нас неравен будет. Казус в самом деле деликатный, и я, для любопытства вашего сиятельства, не пропущу, конечно, сообщить вам, какие меры здесь по сему приняты будут.

В приложенных при сем из Варшавы письмах ваше сиятельство найти изволите, сколь нежно положение наше и с Австрийцами. Словом сказать, отовсюду хлопоты, могущие иметь следствия весьма неприятные. К тому же и здесь сколь мудрено соглашать и прилаживать умы разнообразные, о том больше всех знает его сиятельство граф Никита Иванович. Божиим провидением все на свете управляется, сие конечно правда; но надобно признаться, что нигде сами люди таи мало не помогают Божью провидению, как у нас.

Петергоф, 4-го Августа 1772 г.

Наконец и достальные пиесы под одиннадцатью нумерами, касающиеся до нашей негоциации с Венским двором, имею честь сообщить здесь вашему сиятельству.

Ваше сиятельство изволите ныне видеть совершение великого дела, какого в Европе около двух веков не бывало. Правда, что трудно весьма было довести Венский двор к сему соглашению, да и преклоня его к тому, мудрено же было соединить и удовлетворить интересам каждого двора. Уже никак нельзя было отвратить Венский двор от требования соляных заводов и Львова. Дальнейшее с нашей стороны в оном упорство могло бы легко разорвать и всю негоциацию, тогда как для России все равно, у Австрийцев ли соляные заводы, или у Поляков, и когда король Прусский в оном не спорит. И так судьба Польши, сдружившая три двора, решилась наконец к огорчению Франции, которая, стремясь сколько можно нам вредить и помешать миру нашему с Турками, ищет приключить нам новую войну с Шведами способом произвести там революцию. Франция рада на сей раз и Швецию подвергнуть разному жребию с Польшею, лишь бы помешать тем миру нашему. Может статься, или, справедливее сказать, нет сомнения, что медленность Турецких полномочных для съезда на конгресс происходит от коварных внушений Франции, которая, конечно, питает Турков надеждою скорой революции в Швеции, и, следовательно, новой у нас с Шведами войны. В самом деле, м. г., если удастся умышляемая революция, то и новая для вас война неминуема; но тогда за верное полагать можно, что Датчане вооружатся против Шведов, к чему в приуготовлять их поручается отправляющемуся на сих днях в Копенгаген в качестве полномочного министра г. Симолину, тому самому, который заключал перемирие.

Сей момент получено известие, что Турецкие послы приехали и были у наших, а наши у них с визитами, и разменялись полномочиями.

(Без числа).

К величайшему моему сожалению, две почты сряду не вмел я счастья писать к вашему сиятельству: одну за случившеюся мне головною болезнию, а другую для того, что, получа известие о заражении Клина, не успел я решиться на способ, чрез который бы письма мои могли мимо Клина доходить верно до рук ваших. Сей способ теперь известен вам, м. г., чрез письмо его сиятельства, братца вашего. Став таким образом уверен о безопасности переписки, которую имею честь вести с вашим сиятельством, продолжаю по делам мои доношения; но, прежде нежели начну оное, позвольте принести вам нижайшее мое благодарение за милостивые письма ваши от 17 и 24 прошедшего месяца.

В ответ на первое из оных не остается более, как токмо донести вашему сиятельству, что самый опыт доказывает справедливость ваших рассуждений. Зависть Венского двора к успехам нашим очевидна; но не всякой зависти удастся самым делом исполнять свои вредные желания. Может быть, не удастся и сему гордому двору положить преграду нашему вожделенному миру. По крайней мере кажется, что и самому Богу нельзя попустить, чтоб злоба торжествовала, а кровь невинных лилася. Что ж надлежит до особы его сиятельства, братца вашего, то излишне б мне было изъяснять вам все мое усердие к славе его; но не могу же, м. г., то оставить без ответа, что вы мне сказать изволили, как брат его, и в тоже самое время как беспристрастный человек. Без сомнения, больших людей честолюбие состоит в приобретении в себе почтения тех, кои сами почтены и которых во всем свете, конечно, мало. Впрочем, хула невежд, которыми свет столько изобилует, не может оскорблять истинных достоинств, равно как и похвала от невежд цены оным не прибавляет. Сие привело мне на мысль два стишка г. Сумарокова, заключающие в себе сию истину:

«Достойной похвалы невежи не умалят; А то не похвала, когда невежи хвалят».

Вам, м. г., из прежних писем моих уже известно мнение мое о воздавании справедливости от публики великим людям. Сколь то правда, что беспокойство ваше в рассуждении сего происходит от нежности братского дружества, столь, если смею сказать, мало основательно сие беспокойство ваше и потому одному, что вся Европа, не говоря уже об отечестве нашем, знает, кто правит делами и кто мир делает. Словом, как бы фавер ни обижал прямое достоинство, но слава его исчезает со льстецами в то время, когда сам фавер исчезает; а слава другого никогда не умирает.

Дальнейшее происшествие известной вам визирской переписки оправдало совершенно благоразумное примечание вашего

сиятельства, которое во втором письме вашем найти я честь имел. Из приложений, о коих упомяну я ниже сего, изволите усмотреть, м. г., что посланная с Ахметом бумага, кроме некоторого нам предосуждения, ничего не произвела. Здесь же по сей материи следует копия с письма графа Григория Григорьевича (Орлова); хотя в самом деле за будущее ручаться невозможно, однако Турецкое изнеможение, вступление Австрийцев в общее с нами согласие и самая справедливость дела нашего подают причину надеяться, что мир заключен будет по положенному основанию каким бы самодуром на конгрессе поступлено ни было.

Письма графа П. И. Панина к Фон-Визину.

Село Никольское, 12 января 1772.

Любезное ваше письмо, от 4 нынешнего месяца пущенное, препроводило верно во мне приложения под литерами А, В, С, Н, S. Из них потому, в котором употреблено столь жалостное прошение о лицезнении, можно автору повторить спасибо; а о том, конечно, сомневаться нельзя, кто, следуя нашего любезного отечества обычаю, вставши из-под сеченья, растянется еще в ноги, чтоб больше его сечь стали; но до того и дела нет, что с веру случилось быть сослану в конюшню. В вашем, дорогой приятель, письме согласное с братцем моим рассуждение, всеконечно, для умерших и потомства усладительно и справедливо, особливо когда коварство, притворство и злоба берут поверхность над добродетелью, перенося между живыми честь, славу, признание и воздаяние с заслуживших по всей справедливости на тех, на кого пристрастие располагает. И сколь близко к истине сие, что умерших корысть уже не соединяет судьбу с подсудимым, и что публика, поздно или рано, но очищается от заражения лстецов к отданию надлежащей справедливости, и что достойный человек не должен огорчаться, когда лстецы, при нем отъемля его цену, возлагают на своих идолов; однако ж признайтесь вы и с любезным моим братцем, что немного удаляется от существительной истины и сие, что приписания к умершим происходят от потомства чаще из списков, руками лстецов или рабонсных поработенцев сочиненных; а древностию миновавшего времени утвердило многое в вероятие к людям то, что похищено у других. Почему долг каждого себе и благоразумие требуют всеми удобовозможными образами предостерегаться, дабы приобретаемое справедливейшими подвигами не переносилось утвердительными видами на других, а наипаче еще к превращению в озлословлении самых тех, которые истинные были тому соиздатели. А когда уже торжествующая поверхность отнимает все в тому способы, то тогда уже, дорогой приятель, но неволе остаются те утешительные заключение, кои вы мне ознаменовать изволили. Постскрипт ваш, государь мой, поставил меня в ужас и удивление. Как, в столь отдаленном жесте, возмог представиться сей непорочной предмет? А чтоб завоевание подлинно предпринято было на такую непреодолеваемую им отдаленность и неизвестность, того я верить не мог; разве не сделана ли

оним прикрышка настоящему намерению, и не открылось бы оно по своим там берегам на распространение в оной окрестности. Боже да сохраняет нашу Великую Благодетельницу, а отечество от страдания невинной крови!

Село Никольское, 23 апреля 1772.

Повторяю вам, государь мой и дорогой приятель, Денис Иванович, мое сердечное, большое благодарение за повторительное изъявление вашего соучастия в минувшей болезни моего сына, а особенно еще за доставление мне при последнем вашем любезном письме трех предписаний, объяввших все мое усердное любопытство в чувствительнейшее внимание, по которым и преисполнилась душа моя разными движениями, как от стороны великого удовольствия в рассуждении предвозвещенной славы в пользу отечества, и рассуждении употребленного в оных трудах благорасположения моего брата и друга, так и колебательности от стороны воображающих себе прискорбностей о том, какую ценою душевных преогорчений покупает брата моего неутомленная о истинном благе ревность и единственное только достижение до утвердительных статей таких самых полезных предметов и намерений, и какая еще цена тою же монетою предстоит усердной в бескорыстной его душе на доступление и до того, что в точным совершением им предустroенного отдастся во всей на... жности {В подлиннике оторвано.}. Слава другому, а ему останется оная единственно от тех, которые до кабинетного таинства достигали, и разве от другого века, с предъявлением еще и сего, что когда поступлено будет на неперменное окончание всем наскученного уже понесения способом самонадежности в разорвании препятствующих узлов, то упущенное оным недостижение до предположенных и великою ценою всего государства, так сказать, надежно о задаточных предметах, упадет на негож, а слава в избавлении от несносно носимого бремени однако ж достанется другому, Боже дай, чтоб мои слабые колебания обманули меня хотя в последнем! А первое уже приникать надобно в долг жертвы всего собственного, в выгоду и пользу общую, лишь бы только было без повреждения достигнуто по всей точности предположенных весьма похвальных, благих предметов.

Однако ж, дорогой приятель, надобно, чтоб и тут не оставила нас общая сию пословица, дабы и шило брило. Со всем тем, теперь я действительно радуюсь, что вы все мне любезное на некоторое время уже отработали, и теперь нет столь обременяющего вас труда.

Москва, 16 июля 1772.

Вы, пожалуйста, никогда не заботьтесь и вперед умножать вашего труда в сокращении приложений в экстракты. По моему одному врожденному любопытству, к существительным делам, не находил я никогда отягощения прочитывать об оных с удовольствием все то, что только приобретать когда мог; а теперешняя моя свободная жизнь еще более доставляет мне в тому удовольственной удобности, и вы, дорогой приятель, лучшее всегда тек мне одолжение делать изволите, когда сообщения ваши всегда таким образом во мне пересылать будете, каким может лишь быть облегчительнее трудившимся в них. Весьма приятно мне было увидеть из вашего письма, что мои рассуждения согласными встретились с братцем моим, о характере и о молебне; но не знаю, как показались ему мои мысли о действиях на случай продолжения войны. Пожалуйста, скажите ему, при

свободном времени от обременений, что я со всеми моими, с неотменною в нему душевною преданностию, теперь здоровы; но токмо его столь распространившееся обременение приводит меня забывать не только образ его ко мне расположение, но и почерк его подписки.

Сношения Фон-Визина с графом Петром Ивановичем продолжались и после смерти графа Никиты Ивановича Панина. И в сем обстоятельстве заключается, по нашему мнению, оправдание Фон-Визина в нарекании, которым тяготится память его. Объяснимся. Готовясь в труду биографа, мы старались изведать все предание, оставшиеся об авторе, которого нам нужно было узнать короче. Любопытство наше было скудно удовлетворяемо; но со всем тем мы успели узнать, что если добрая слава забывчива, то худая довольно злопамятна. Мало того, что и при жизни из голосов стоустой молвы разве один присвоен добрым вестям, а девяносто девять служат разглашениям злоречия; но и в потомстве сии последние имеют еще неумолчные отголоски. Рассказывают, что Фон-Визин, искав милости в князе Потемкине, был готов предать ему любовь и благодарность свою к графу Никите Ивановичу Панину, которого князь Потемкин не любил; что, забавляя вельможу, передразнивал он пред ним своего начальника и покровителя; но что Потемкин по своенравию и непостоянству прихотей своих, скоро наскучил искательствами нового поклонника и выжидал только случая проводить его от себя с оскорблением. Случай сей скоро подоспел: однажды жаловался он пред Фон-Визиным на толпу докучников и льстецов, которые без отбоя осаждают его. Фон-Визин советовал ему в сем случае следовать примеру государственных людей в других землях, которые в кабинетах своих недоступны для праздношатающихся искателей. Потемкин обещал воспользоваться советом его – и тут же дал приказание вперед не впускать к себе Фон-Визина. Сие оскорбление не могло бы не сделаться гласным, и двуличность Фон-Визина обваружилась бы скоро. Положим, что начальник его и не проведал бы о том, потому что отношения начальников к подчиненным часто походят на отношения мужей к женам: те я другие узнают из последних в городе, что они обмануты; но как мог бы брат министра не узнать стороною о случившемся? а узнав, как мог человек, подобный графу Петру Ивановичу Панину, оставаться в приязни с предателем лукавым и неблагодарным. Из всего этого рассказа можно допустить только два обстоятельства. Не мудрено, что Фон-Визин, который имел дар передражнивание, представлял в лицах и начальника своего – шутка невинная! Еще сбыточно и то, что князь Потемкин, известный неровностию нрава своего, то обходительный, то неприступный, то ласковый до обольщения, то высокомерный до обиды, сперва приласкал Фон-Визина, уважая ум его, а после охладил к нему и даже рад был оскорбить в нем человека, преданного сановнику, коему он не доброжелательствовал. Сии предположения, по крайней мере, основаны на вероятности; но все прочее, предосудительное для чести Фон-Визина, оспаривается приведенными здесь свидетельствами к должно быть приписано к выдумкам клеветы.

Глава VI

Путешествия Фон-Визина в чужие края. – Второе путешествие. – Пребывание в Париже. – Третье путешествие. – Удар паралича. – Четвертое путешествие. – Заграничные наблюдения его. – Одностороннее направление Фон-Визина. – Разбор писем его, писанных из-за границы к Гр. П. И. Панину. – Дидерот и Мармонтель. – Приезд Вольтера в Париж, во время пребывания в нем Фон-Визина. – Мнение иностранных писателей о тогдашнем духе французов. – Письмо Гиббона. – Свидетельство Кн. Дашковой о состоянии *Парижского общества*. – Дидерот у Кн. Дашковой в Париже. – Г-жа Жофрень. – Рюльер. Мнение Кн. Дашковой о Дидероте. – Многое в письмах Фон-Визина, писанных из Парижа к Гр. П. И. Панину, заимствовано из сочинения *Дюкло* «*Considérations sur les mœurs de ce siècle*»; в комедиях же из сочинений *Лабрюйера*, *Ларошфуко* и *Лабомеля*. – Анекдот о Дидероте и Майкове. – Ученые занятия Фон-Визина в Париже и круг его знакомства. – Франклин. – Сер-Жермень. – Прощальное письмо Гр. П. И. Панина, перед отъездом Фон-Визина за границу. – Фон-Визин оставляет службу. – Связи его с Клостерманом. – Пребывание Фон-Визина в Италии. – Замечания его о художествах. – Поездка в Лукку. – Письма Фон-Визина из Вены. – Приезд его в Россию и начало страдальческой жизни. – Намерение Фон-Визина опять отправиться за границу. – Ложные слухи о желании жены развестись с ним. – Последняя поездка за границу. – Письма из Вены. – Выписки из журнала пребывания в Карлсбаде. – Выписки из журнала путешествия в Ригу, Бальдон и Митаву

Фон-Визин был четыре раза заграницею. В первый раз ездил он, как мы видели, с поручением по службе. Нам не осталось никаких следов от сей поездки, кроме того, что он сам говорит о ней в своей *Исповеди*. Второе путешествие предпринял он по причине нездоровья жены своей. Выехал он из Петербурга 8 июля 1777 года и возвратился в 1778 году, вероятно, в конце октября или в ноябре месяце. В сем путешествии проехал он, чрез Варшаву, Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Страсбург, Лион и Ним, до Монпелье, который был целью их поездки. В сем городе пробыл он около двух месяцев, за лечением жены своей, которое имело желанный успех. В конце февраля 1778 года приехали они в Париж и пробыли в нем несколько месяцев. Третье путешествие совершено им было в 1784 и 1785 годах. Целию его была Италия. Выехав из Петербурга и проехав часть Пруссии, чрез Лейпциг, Ниренберг, Аугсбург, Инспрук и Триент, начал он обозрение свое Италии Вероною. В Италии пробыл он месяцев восемь и успел объездить почти все главные города разных ее областей. Оставив Венецию в мае 1785, возвратился он чрез Вену в Россию, В августе был он в Москве. Сие возвращение памятно несчастным для него событием: 29 августа приключился ему удар паралича, отнявший у него уже до самого конца жизни свободное употребление языка и левой руки и ноги. Но, кажется, сей удар не был первым, или по крайней мере имел уже предварительное предвещание в Риме: ибо в письме из Вены жалуется он на оставшееся в нем после болезни онемение в левой руке и ноге. Впрочем, он с самой молодости своей страдал сильными головными болями; но жизнь его довольно неумеренная, невоздержность в удовольствиях стола и в других чувственных наслаждениях, не могли способствовать к исправлению немощей природного сложения его. Четвертое путешествие его, предпринятое им в 1786 году, имело целию поправление здоровья. Пробыв в Вене несколько месяцев, ездил он в Карлсбад лечится целительными водами. Из Карлсбада отправился он в Тренцин, в Венгрии, также для употребления целительных вод, и возвратился в Петербург в конце сентября 1787 года. Жена его ездила с ним все три раза.

Путешествие для ума любопытного и наблюдательного есть род практического учения, из коего возвращается он с новыми сведениями, с новыми испытаниями и, так сказать, переработанный действием разнообразных впечатлений.

Но для сего нужно иметь ум космополитный, который легко уживался бы на почвах, ему чуждых, в стихиях, ему равнородных. Умы, так сказать, слишком заматерелые, от оригинальности своей или самобытности односторонние, перенесенные их климат ин чуждый, не заимствуют ничего из новых источников, раскрывающихся пред ними, не обогащаются новыми пособиями, не развиваются, а, напротив, теряют свежесть и силу свою, как растение пересаженное, которому непременно нужна земля родины, чтобы цвести и приносить плоды. Ум Фон-Визина, кажется, принадлежал в сему разряду: коренной русской, он на чужбине был как-то не у места и связан. От сего ли свойства, от того ли, что осмеяв в *Бригадире* повесу, который, побывав в Париже, бредит им наяву, побоялся он сам поддаться обольщению, и в следствие того впал в другую крайность, не менее предосудительную, хотел ли он выказать насильственным расчетом ложного самолюбия, что если многие на соотечественников его платили покорную дань удивления и зависти блеску Европейского просвещения и общежития, то он готовил ему одно строгое исследование и суд: как бы то ни было, большая часть его заграничных наблюдений запечатлена предубеждениями, духом исключительной нетерпимости и порицаний, которые прискорбны в умном человеке. Дома бич предрассудков, ревнитель образованности и успехов разума, Фон-Визин путешественник смотрит на все глазами предрассудка и только что не гласным образом, а отрицательными умствованиями, проповедует выгоду невежества. Нет сомнения, что пристрастие многих соотечественников наших в отзывах их о чужих краях основано более на слепом неведении о своем отечестве, нежели на просвещенной любви к устройству и преимуществам, которые в других землях суть плоды многих столетий и многих испытаний; но не менее справедливо и то, что русскому, желающему быть тем, чем создал нас Петр и образовала Екатерина, должно с Русскою душою соединять в Европейский ум. Таков был Петр, действовавший как самодержец и любивший отечество свое как гражданин. Не станем добиваться быть более, быть исключительнее русскими, чем он и верные споспешники его в великом подвиге; удовольствуемся тем, что будем любить отечество, как он любил его, и как он понимал сию любовь. В любви в отечеству более свойств любви родительской к детям, нежели детской к родителям. Сия последняя любовь должна быть безусловная: сын не может быть никогда судиею отца своего; не ему замечать его недостатки, исправлять его погрешности, противодействовать его склонностям. Напротив же отец, чем нежнее, чем пламеннее любит сына своего, тем строже наблюдает за всеми его отступлениями, тем сильнее ненавидит в нем признаки вредных склонностей, и тем рачительнее, тем неумолимее старается искоренить оные. Просвещенная любовь может негодовать и ненавидеть: соединение сих чувств, устремленных их одной цели, приносит последствия благодетельные; невежественная любовь, напротив, слепая как пристрастие, безотчетная как обожание, оказывается в последствиях своих гибельнее самой ненависти. По несчастию, многие понимают любовь к отечеству, как Простакова нашего комика понимала любовь свою к Митрофанушке. Особливо же писатели, сии передовые стражи общего мнения, сии бескорыстные, бесплатные, вспомогательные сподвижники благонамеренного правительства, должны не разделять любви к отечеству с любовью к просвещению: сия двойственная любовь должна зажигаться у одного пламенника, гореть пред одним алтарем. От писателя, действующего на общее мнение, требуется и постоянное исповедание одного мнения. Из сего не следует, что писатель заблуждавшийся и призывавший свое заблуждение не должен никогда в нем покаяться и стоять на него вопреки совести и опытам, выведенным силою событий. Требуем от писателя не упрямства, не ложной верности к мнимым обязательствам, по основательности и твердости. Не много таких истин несомнительных, не много каких правил непреложных, коих святость должна пребыть и тогда, когда противоречат им последствия частные, случайные и независимые от воли людей: но, посвятив себя на служение одной из сих истин, должно пребыть ей верным без взятия, применяя к себе рыцарское восклицание французских роялистов: *Vive le Roi quand même!* Польза

просвещения есть одна из малого числа сих исключительных истин. Почитая его единым прочным основанием благосостояния общего и частного, совестью правительств и лиц, про- стительно ли, например, пугаться малодушно некоторых прискорбных явлений, приписыва- емых просвещению, или, положим, и влекущихся за ним по неисповедимым законам Про- видения, которое отказало в совершенстве всему, что ни есть на земле? Опустошительные грозы, следующие за благотворительным летом, ядовитые растения и ядовитые гады, раз-вивающиеся влиянием того же солнца, которое вдыхает жизнь во всю природу, проникает плодотворною теплотою создание, без него мертвое и мрачное, должны ли заставлять нас признавать за благо одно мертвительное действие зимы? Хотеть все предвидеть, все при- думать и все предотвратить не есть признак силы дальновидного ума, – напротив, ребяче-ского малодушия. Оно, с смешною самонадеянностью рассчитывая силу своих собственных средств, забывает, что есть впереди другая невидимая сила, часто превращающая в ничтож-ность все расчеты человеческой предусмотрительности. Безумно человеку хотеть быть про-видением не только завтрашнего дня, но и настоящей минуты. Писатель, который, по званию своему, обязан быть проповедником просвещения, а вместо того бывает доносчиком на него, подобен сатиру, который дует и теплом и холодом, или еще более врачу, который, призван будучи к больному, пугает его неверностью своей науки и раскрывает пред ним гибельные ошибки врачевания. Пусть каждый остается в духе своего звания. Довольно и без писате-лей найдется людей, которые готовы остерегать от властолюбивых посяганий разума и даже клеветать на него при удобном случае. Нет сомнения, что врач, не одобряемый упованием в пользу искусства своего, воин, слишком совестливый пред неприятелем, и мнительный писатель, робеющий пред торжеством тяжбы, коей он присяжный ходатай, равно погрешают пред своими обязанностями, равно предатели своих обетов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.